Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
Royallib.ru
Все книги автора
Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

Геннадий Осетров
Гибель волхва

Совесть (со-Весть) — причастность к всечеловеческой, высшей Вести, истине.
Жизнь, жизнь милее всего на свете!
Из русской народной сказки

Конец лета и первоначальную осень очень тяжелого и темного для меня 1982 года я провел в Подмосковье. Каждое утро выходил я из избы и шагал в черную от древности, заброшенную, полусгнившую бревенчатую баню, садился там к самодельному шаткому столу, но писание мучительно не шло — одолевали сомнения и рушилась вера в целесообразность сочинительства.

К стеклу некогда прорезанного в банной стене большого окна слева и справа прижимались тонкие зеленые ветви боярышника, а позади них поднимались к небу тяжелые старые липы; по их черным морщинистым стволам бегали освещенные осенним солнцем сине-желтые синицы, изредка сверху опускались огромные вороны и строго расхаживали по усыпанной опавшей листвой земле, сердито тыкая в нее большими серыми клювами.

Осень началась вдруг, и пошли унылые, почти невидимые дожди; холодов пока не было, но с нехорошей быстротой все в природе стало меняться, и, когда первая непогода все-таки развеялась и проглянуло солнце, оказалось, что деревья уже осыпаются. Небо, слегка помутневшее от внезапно вернувшегося тепла, приблизилось к земле, все быстро просохло, и мир предстал в многоцветной осенней красе.

Изредка под липы, распугивая суетливых осенних птиц, приходил большой рыжий кот и подолгу дремал на согретом солнцем перевернутом цинковом корыте.

Однажды утром, в очередной раз подняв голову от опостылевших бумаг, я глянул в окно и замер. Из-за толстого черного ствола дерева вышел знакомый кот. В его пасти болтался, будто тряпичный, задушенный молодой скворец, желтые восковые лапки его вытянулись и мертво скребли палую листву.

После секундного оцепенения я метнулся к полуоткрытому окну, но в тот же миг понял, что это бессмысленно, ибо птица уже погибла и отнимать ее у рыжего убийцы теперь было поздно.

За углом бани кот разорвал скворца на пригодные для пожирания клочки, и скоро легкий ветерок развеял под липами невесомые, темные, будто пепел, перья и разметал их на желтом ковре осени.

Острая грусть охватила меня; не убийство зверем птицы вызвало это

чувство — жалость родилась от мысли, что оставалось совсем немного времени до того дня, когда он вместе со своей стаей должен был подняться над миром и улететь в теплые края.

Здесь же, на покинутой им земле, совсем скоро потекут с неба холодные мутные струи, синее небо заслонят мрачные тучи и потом все покроет необычайно белый снег.

Некоторое время я пытался вытолкнуть из себя ненужную грусть и продолжить работу, но ничего не получилось. Тогда я поднялся из-за стола и вышел из бани.

Я уходил от нее по бесконечной дороге, и с обеих сторон улицы на меня устало смотрели темными окнами такие же черные от вечности бревенчатые избы с длинными телевизионными антеннами-крестами на крышах… Далеко впереди виднелся лес.

Скоро жилища закончились, и оказался в одиночестве на неширокой тропе, протертой на земле ногами бродивших тут испокон веков людей.

Выйдя на невысокий берег Клязьмы, я остановился; необыкновенная тишина окружила меня. Изредка в изреженном лесу, среди почти оголившихся от холодов деревьев, едва слышно шуршание плывущего по небу над головой плотного белого облака. Когда солнце наконец освободилось от него, лес вновь загорелся зеленым, красным, желтым цветом увядающих деревьев.

Ожила даже вода в Клязьме и, как показалось, потекла быстрее. Шагая по берегу навстречу течению, я через несколько минут подошел к месту, где в Клязьму впадает совсем уж узенькая речушка — Вохонка. Она осторожно и несмело растворялась в Клязьме, и, слившись, обе речки текли вдаль, огибая лес.

Тишина и красота величаво господствовали здесь; давно забытый в обычном миру душевный покой овладевал мною — я сознавал, что позади — за лесом, дорогой, избами — осталось нечто временное, упорно догоняемое мною, но постоянно ускользающее. Чаще всего оно зовется надеждой, иногда верой. Но в теперешнем вселенском покое ясно выявилась пустая суетность моего каждодневного бытия, и вдруг показалось, что пределы жизни стремительно раздвигаются.

Недвижимо замерев в самом центре русской земли, я с каждым мгновением с необычайной ясностью ощущал, что лежащий вокруг меня мир вечен. Что это Солнце, это Небо, эта Река были для предков моих предков божествами. Вот здесь, клянясь, они целовали Землю, и то была самая нерушимая клятва. А над всем и всеми стоял великий русский бог Род, от имени которого пошли Природа, Родина, Народ…

Но тогда, тысячу лет назад, на Руси принуждали переменять богов…

1

Вещи и дела, аще не написании бывают, тьмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написаннии же яко одушевленнии.

Тогда, тысячу лет назад…

Высокая трава вдруг затрепетала, и над ней поднялись головы двух гадюк. Змеи переплелись, замерли в напряжении, пытаясь преклонить друг друга к земле. Крохотные черные глаза гадюк поблескивали, грозный шип вырывался из змеиных пастей. Порой одному из самцов удавалось пригнуть врага, и тогда гадюки ненадолго пропадали в густой

весенней зелени.

Разгоралось раннее утро. Голубое небо быстро прогревалось и наливалось солнечным светом. Крохотная поляна в бескрайнем лесу, посреди которой сплелись змеи, почти вся была накрыта тенью деревьев. Лишь там, где на траву падали солнечные лучи, желтые, голубые, белые цветы едва заметно покачивались от неощутимого ветерка. На них еще не высохла роса и водяные капли вспыхивали яркими искорками. В едва различимом шуме леса порой раздавались смутные шорохи, внезапно хрустела сломанная неведомым зверем ветка, все замирало, настораживаясь — и снова делалось тихо. Потом совсем рядом гулко стукнул по дереву дятел, мрачный ворон опустился вниз, к земле, но, заметив гадюк, громко хлопнул крыльями и исчез. Лишь несколько стрекоз без опаски замерли в воздухе над травой.

На поляну из лесу бесшумно вышел человек. Он одет в желтую холщовую сорочку, подвязанную тканым поясом с небольшими кистями. На плечи человека наброшен безрукавный ворот-плащ, на ногах — новые кожаные лапти. Небольшая округлая борода и волосы скобкой совершенно седы, хотя человеку не больше пятидесяти лет.

Поправив на поясе небольшую калиту-сумку, он осторожно подошел к змеям и, остановившись неподалеку, некоторое время следил за борьбой гадов. Потом, настороженно оглядываясь по сторонам, двинулся дальше. Порой он наклонялся за цветком или травой и, отряхнув с их корней землю, совал в льняной мешочек, висящий на груди.

Обогнув поляну, седовласый вновь вошел в лес. Зеленоватый свет лежал на похрустывающей под ногами прошлогодней хвое, коричневым покровом лежащей между деревьями. В некоторых местах сквозь прорехи в густой кроне пробивался вниз тугой солнечный луч, и земля там, куда он падал, ярко светилась. Птицы наверху предупредительно высвистывали лесную тревогу, да мелькали на ветвях шустрые виверицы — белки. Однако человек лук с плеча не снимал и продолжал двигаться безостановочно, лишь однажды он резко остановился, услышав впереди отдаленный крик священной кукушки. Птица отсчитала три лета и смолкла.

Вскоре лес кончился, и за небольшой ярко-зеленой опушкой сверкнула между низкими берегами спокойная Клязьма. Человек внимательно огляделся, чутко вслушиваясь в шум леса, потом вышел к берегу и сел неподалеку от воды. Он вынул вышито — белое с красным — полотенце, расстели перед собой, достал несколько вареных яиц, печеную стерлядь и пирог с сыром. Склонившись к реке, седой зачерпнул деревянным стаканом воды, поставил его, но вдруг насторожился, стал вглядываться в даль.

Перед ним по стрежню реки проплыл маленький остров. Оторвавшийся неведомо где кусок торфа порос густой травой, над которой поднималась тоненькая гибкая березка с несколькими трепещущими листочками. Островок медленно проплыл по серебристой воде, свернул вместе с рекой в сторону и пропал. Стала невидимой за поворотом и Клязьма; однако человек знал, что течет она очень далеко, соединяется с Окой, Ока с Волгой-Итилью, и отсюда можно доплыть к мордве, булгарам, другим народам, живущим в безлесных краях.

Будто забыв о пище, седовласый, ссутулившись, долго задумчиво глядел на текущую перед ним реку. Сегодня на рассвете он ходил в

небольшую соседнюю весь[1] Чижи, куда недавно нагрянули страшные люди, до сих пор только осенью, в полюдье, приходившие на эту землю за данями.

Но еще прежде появился в Чижах человек-попин в черной заморской одежде и стал ругать русских кумиров, бросал в них на капище камнями, поносил смердов-пахарей[2] и на полупонятном языке рассказывал о другом, никому тут не ведомом боге Христе. Попин бродил по веси несколько дней, потом исчез, но скоро в лесу нашли его изодранный зверьем труп.

Теперь в Чижи прискакали княжий вирник[3] и двенадцать воинов-отроков[4]. Наложив на жителей веси поголовную дикую виру-дань, княжьи люди велели поставить в один стук христианскую церковь-кумирню. Новый попин, прозванный за суетливость Куликом, долго объяснял смердам, как ее надлежит возводить, царапал щепкой по земле, втолковывая плотникам задание.

Седой волхв Всеслав по кличке Соловей уже видел в своей жизни избиение русских кумиров и теперь понимал, что попин и вирник силой принудят смердов сооружать чужеверное капище. Это было страшно, но как избежать напасти, он не знал. Издали, хоронясь от пришельцев, следил сегодня волхв за действиями попина-византийца, потом осторожно ушел и теперь потерянно сидел на речном берегу. Ему было ясно, что неодолимая опасность вплотную подошла к здешним смердам.

Закрыв глаза, Всеслав склонил голову и замер в тревожном оцепенении. Потом память его стала постепенно оживать, вынося из глубин далекого детства самые яркие видения.

Тогда, почти сорок лет назад…

2

Вечная вода Клязьмы была совершенно черной, и восьмилетний Всеслав понимал, что у реки нет дна. Он сидел на корме небольшого челна и протыкал костяным крючком червя. Потом он бросил его в воду, коротко булькнуло глиняное грузило, и на недвижимой реке замер светлый деревянный поплавок. Сбоку его освещал костер, горевший на носу лодки на дубовой «козе», перед которой стоял на коленях отец Всеслава Ростислав. На дне челна в мокром лыковом мешке шевелилась пойманная рыба.

При каждом движении людей от челна по сторонам разбегались мелкие волны, и тогда серое пятно на воде от костра морщинилось, рябилось. На темных бесшумных берегах черным частоколом стоял лес, а над ним в бескрайнем небе сверкали большие звезды.

Мальчик изредка брал черпак и выплескивал из челнока воду. Отец перекладывал в левую руку острогу и оборачивался на шум. С шеи у него

1 название «деревня» появилось не ранее 30-х годов XIV века

2 смерд — крестьянин, земледелец; возможно, что в глубокой древности это были люди близкие вождю и обязанные сопровождать его в потусторонний мир, «соумирать» с ним

3 вира — по древнерусскому праву, штраф за убийство; вирник — тот, кто взимает виру

4 отрок — в Древней Руси младший член дружины; из «от» и «реку», т.е. не имеющий права говорить

свисал науз-амулет — небольшая дощечка с прилепленным к ней листом подорожника, — и маленькая тень от науза тоже раскачивалась на воде.

Потом они опять замирали, и — каждый раз неожиданно для Всеслава — отец метал острогу в реку, громко плескалась пронзенная рыбина, и ее заталкивали в мешок.

Стало рассветать, повеяло сырой зябкой прохладой. У ближнего берега вдруг зашумели, зашлепали в воде бобры. Отец ладонями подгреб туда, взял из костра горящее тонкое полено и долго вглядывался в темному. Однако там опять установилась тишина.

Бобры больше не плескались, и отец, отбросив в реку головню, взялся за весло. По неподвижной воде скоро причалили к своему берегу, оттащили подальше от реки челн и зашагали наверх. Отец закинул на плечо мешок с уловом, а Всеслав, укутавшись в шерстяную накидку-ворот, нес весло, удочки и острогу.

Перед ними впереди, в трех перестрелах стрелы, лежала тихая сейчас весь Липовая Грива. Позади темных спящих изб чернели защищенные плетнями от лесного зверья огороды.

Небо все теплело и теплело; серая пелена прогревалась и заменялась нежной голубизной рассвета. Лес, еще недавно мрачный и опасный, постепенно оживал.

Мужик и мальчик часть пути прошли берегом, потом повернули от реки и двинулись к одиноко поднимавшемуся перед лесом холму — Ярилиной плеши, — на вершине которого было капище великого бога Рода.

Как обычно, над холмом поднималась струя светлого дыма.

Рыбаки медленно взошли на вершину холма. У входа в кумирню, огороженную невысоким забором из врытых бревен, отец опустил на землю мешок, вынул большого сига, шагнул к богу.

Крашеный деревянный Род возвышался над всей округой; у его подножья тлел костер, в нем потрескивали угли и легкий, как пух, серый пепел медленно отлетал в стороны.

Отец принес несколько поленьев, опустился перед кумиром на колени. Всеслав замер рядом. Воткнутая в прогоревший костер лучина скоро задымилась, потом плотный белый дым окутал дрова, но тут же сквозь него прорвался огонь, и костер громко затрещал. Дым улетал с вершины холма к лесу, позади которого поднималось солнце. Клязьма, еще недавно холодно серебрившаяся среди весенней зелени, сделалась золотой. На густо поголубевшем небе появились тугие белые облака.

Костер жарко запылал, и тогда отец положил в него принесенную рыбу; сиг сперва круто изогнулся, но сразу же мертво распластался на красных углях и задымился. Всеслав глядел на сгорающую рыбу, потом, следя за дымом, поднял вверх глаза.

Серая струя уплывала вверх, тянулась высоко-высоко к небу, туда, где было ирье-рай и куда вместе с дымом улетали души всех отживших свой срок на земле. Теперь мальчик с трепетом надеялся разглядеть там навьи-души своих бабушки и дедушки и их бабушек и дедушек, которые жили там, но часто прилетали в его баню.

Однако дым просто растворялся в небе над Ярилиной плешью, и ничего удивительного там не объявлялось.

Потом отец старательно подгреб в кучу жаркие угли, положил на них еще несколько поленьев, и рыбаки двинулись в весь. Через несколько шагов Всеслав обернулся и испуганно приостановился: густой дым,

укутывавший теперь почти всего кумира, наверху отклонялся в сторону, и оттуда на мальчика глядел освещенный солнцем великий Род.

Изба Всеслава была крайней в веси, ближе других к Клязьме. Когда обогнули плетень и подошли к воротам, мальчик увидел сходящую с крыльца мать. Она остановилась подле овина и стала разбрасывать курам корм. Услышав стук ворот, мать последний раз проговорил «пыра-пыра!», опрокинула вверх дном лукошко, повернулась к рыбакам.

— С богатым уловом, кормильцы! — улыбнулась она.

Отец засмеялся. Обрадовался и Всеслав — он любил дни, когда в избе наступало веселье. Особенно приятно было вечером: отец садился возле печного столба[5] и негромко красиво пел, дергая звенящую тетиву лука. Когда темнело и Всеслав начинал дремать, отец поворачивался к нему и почти шептал всегда одну песню: «Ходит Сонко по улице, носит спанье в рукавице, вступи же, Сонко до нас…»

Сейчас в избе по-особенному тихо, тепло и пахнет так, как не пахнет ни в каком другом месте на земле. После прилета жаворонков[6] прошло много дней, но настоящее тепло все не наступало. Лишь изредка, как сегодня, на небе горело теплое солнце, чаще же на весью стояли черные грозные тучи, из леса выплывал и окатывал избы сыростью холодный ветер.

— Полезай на печь, подремли, — велела мать. — А мы с отцом рыбу в погреб уложим.

Мальчик разулся, подошел к печке, заглянул в подпечье, куда по вечерам ставил для домового-лизуна блюдце с молоком. «Опять незаметно подобрался», — с удивлением подумал он, не увидев ни капли молока. Всеслав хорошо знал, что в избе издавна живет очень добрый домовой. Лизун неоднократно будил его по ночам, настойчиво толкая в бок, но пробудившись, мальчик, как ни озирался, домового не успевал увидеть.

Сейчас, взобравшись на теплую печь, он устало вытянулся, но тут же повернулся на бок, глянул вниз. Отец в светце менял лучину, она разгоралась и чуть освещала отцово лицо. Оно показалось Всеславу совершенно незнакомым, он удивился, стал вглядываться внимательней, но скоро изба осветилась, и отец ушел.

Тонкий черный дым лучины упирался в потолок, потом медленно уплывал к верхнему, волоковому, окну и там пропадал в шелестящей позади стены зеленой листве старой яблони.

Мальчик достал из-под подушки печенного из теста маленького жаворонка, лег на спину и положил птицу на грудь. Не этот, а живые жаворонки каждую весну прилетали из ирья, где всегда ярко и горячо светит солнце и растут деревья с необыкновенно большими яблоками, сливами, вишнями. Туда сегодня от подножья строго Рода улетел и дым от сгоревшего сига, и теперь он, конечно, в тамошней реке вновь превратился в тяжелую рыбу.

Мальчик закрыл глаза и стал представлять себе ирье. Но вместо далекого неба привиделось ему, как на черной воде зарябились красные отблески костра, всплеснул близ берега тяжелый бобр и вдруг из темени

---

5 олицетворял домового — охранителя домашнего очага

6 9 марта по нынешнему летосчислению

кустов сверкнули два зеленых глаза. Сделалось необычайно тихо, потом что-то заскреблось, и пораженный Всеслав вдруг увидел в окне своей избы огромную волчью голову. Зверь оглядел горницу жуткими глазами, просунулся еще дальше и широко распахнул пасть с бесчисленными белыми клыками.

Затем волк стал все упорнее протискиваться в избу; он оперся на окно большущей лапой с длинными когтями и, скребя ими по дереву, полез внутрь горницы, к мальчику. Всеслав от ужаса похолодел, по нагретой печью спине пробежали мурашки, и он бесшумно укрылся с головой одеялом. Все сразу стихло, наступила тьма; однако совсем скоро по полу простучали, приближаясь, звериные когти, и мальчик обмер…

— Славка, ты где? Слезай-ка сюда! — вдруг и очень издалека донесся отцовский голос. — Гляди-ка, страх-то какой!

Всеслав раскрыл глаза, но все еще не мог прийти в себя от жути, увиденной во сне. Сдернув с лица одеяло, он робко повернул голову и увидел возле дверей отца, склонившегося над чем-то.

— Иди-ка сюда! — снова позвал он.

Всеслав спрыгнул на пол, подошел ближе. В корыте, наполненном водой, двигалось что-то страшное. Всмотревшись, мальчик увидел большую, локтя[7] в два, щуку. Плавно поводя хвостом, рыба остановилась, злобно глянула на людей.

— Видал, рыбак?! Надо было ее отдать Роду! Стереги теперь!

Отец скрипнул дверью, а Всеслав, достав из печурки несколько лучин, зажег одну от светца, подошел к корыту. Маленькое пламя блеснуло на воде, и щучья спина сразу потемнела. Мальчик робко притронулся к ней пальцем — рыба оказалась твердой и холодной, будто была сделана из железа. Осмелев, он ткнул в нее лучиной, щука рванулась вперед, ударилась о стенку корыта и стала злобно бить по воде хвостом. Во все стороны полетели брызги, но вдруг рыба снова замерла, сердито раздувая жабры.

Неслышно вошла мать, позади нее, за распахнутой дверью, было удивительно светло от солнечных лучей.

— Чего вы тут натворили?! Вот сейчас хлестану веником одного и другого, одумаетесь! Лезь быстро на печку! На вот! — тише добавила она и протянула Всеславу ковшик киселя и пирог, не съеденный на рыбалке.

Потом мать отодвинула на окнах ставни, и изба осветилась. Золотой солнечный поток вмиг растворился в тепле.

— Потом нащипай лучины! — услышал мальчик, но лишь устало шевельнул веками, засыпая.

…Жизнь, почти вся жизнь прошла с того дня, однако седой волхв до мелочей помнил его. Далекие ночь, утро и вечер негасимой горячей искрой навечно жили в памяти.

Старый Всеслав открыл глаза; все то же солнце, как и в детстве, разливало мягкое тепло по земле и лесу. Прогревшаяся Клязьма сверкала, уплывая вдаль.

А память снова понесла волхва в прошлое…

…Он увидел себя сидящим на нижней ступеньке крыльца.

---

7 локоть — 42,5 сантиметра

Колотушкой Всеслав вбивал в сухую чурку большой нож, и, хрустнув, отскакивала от дерева тонкая лучина. Стучал секирой[8] работавший в овине отец, а вдалеке, за огородом, поднималась над лесом Ярилина плешь, и белая прядь дыма тянулась оттуда к синему небу. По берегу реки бродили смерды из веси, их белые сорочки отчетливо виднелись среди зеленой весенней травы.

Вечером, после еды, мальчик задремал за столом, но мать растолкала его, отправила вместе с отцом в баню. Они занесли туда дров, и Всеслав пошел в избу за огнем. Прикрыв ладонью горящую лучину, мальчик шагнул на крыльцо и поразился: совсем недолго пробыл он в избе, а тут, на дворе, уже стемнело. Солнце закатилось за лес, и там теперь полыхала лишь широкая красная окраина неба.

Осторожно и медленно ступая вдоль плетня, Всеслав понес огонь к бане. Вокруг трещали кузнечики, из веси доносилось пение петухов и мычание коров.

Отец и мать ждали его, сидя в потемках на лавке. Чан был доверху наполнен водой, и еще два ушата с витыми из лозы ручками стояли возле каменки. Сухие дрова быстро прогорели, печь раскалилась, и дым густо заполнил баню. Мальчик приоткрыл дверь, над которой снаружи до самого наката чернела на стене копоть.

Потом он разделся, а мать в это время, присев на корточки перед полыхавшими в печи углями, громко заговорила.

— Батюшка ты, огонь, будь ты кроток, будь ты милостив. Как ты жарок и пылок, как жгешь и палишь в чистом поле травы и муравы, чащи и трущобы, у сырого дуба подземельные коренья, так же я молюся и корюся тебе, батюшка огонь, жги и спали с меня, Парани, и с Ростислава и со Всеслава всяки скорби и болезни, страхи и переполохи!

Едкий дым все сильнее щипал глаза, и мальчик пригнулся с лавки к полу.

Потом, когда печь протопилась, они с отцом быстро помылись и, чистые, свежие, вышли на жерди, уложенные полом перед дверью бани.

Прозрачная ночь опустилась на Липовую Гриву. Бесчисленные звезды сверкали на небе, вокруг было тихо и спокойно. Лишь иногда что-то едва слышно шуршало на крыше бани или кто-то осторожно крался в кустах малины. Вдали грозно стоял черный лес, и река сворачивала в него, отражая на повороте блестящий наверху Перунов Млечный Путь.

Из приоткрытой в баню двери доносился плеск воды, остатки поредевшего мокрого дыма нехотя выплывали оттуда и исчезали во тьме.

Мальчик с отцом всегда сидели тут молча, будто боялись кого-то спугнуть. Время шло медленно; потом скрипела дверь и выходила, держа в руке масляную плошку, мать. От ее белой рубахи приятно пахло мятой.

— Не уснули еще? — всегда одинаково спрашивала она, присаживаясь рядом. — Ступайте, навьям баню готовьте!

Мальчик не боялся предстоящих действий, но все-таки не только любопытство овладевало им. Сейчас они должны были приготовить баню для навий — душ всех людей их рода, для тех, кого Всеслав никогда не видел, — всех, кто жил в веси и от кого пошли все люди. Теперь они были в ирье, но в такие дни прилетали в баню. Мальчик знал, что навьи похожи на необыкновенных птиц с человеческими лицами и хрупкими лапками,

8 секира — рабочий инструмент (топор — боевое оружие)

следы которых иногда остаются на нарочно рассыпанной им или отцом по полу золе. Каждый раз Всеслав тайно желал увидеть чудо-птиц, расспросить их об ирье, о Роде, о Ладе и Леле[9], горячем огне — Сварожиче[10].

Однако навьи никогда не прилетали в баню, пока мальчик не уходил из нее.

В мыльне отец поставил плошку на лавку, куда мать уже положила небольшой кусок вареной рыбы, масло на блюдце и в двух чашках варенный с малиной мед и пиво.

— Побудь тут, я за водой… — тихо произнес отец, вышел, но тут же вернулся, подложил в печь дров, долил в чан воды и выжидательно замер. Крохотный огонек плошки едва освещал черные бревна стен, и в этих сумраке и тишине Всеслав притаился — сейчас навьи уже летели сюда из ирья по звездному небу.

Быстро разгорался огонь, и горячий дым снова наполнял баню. Отец вдруг поспешно взял гаснущую плошку, громко проговорил: «Мойтесь!», плеснул на каменку воды и вместе с сыном ушел, плотно закрыв за собой дверь.

— Все сделали? — спросила мать.

Она поднялась со скамьи, первой двинулась к избе.

…Сколько шагов он тогда сделал? Сколько прошел вслед за матерью, державшей в отведенной в сторону руке маленький огонек плошки, отчего ее тень бесшумно ползла по светлой песчаной тропинке?

Совсем коротким был их общий путь, и припомнил волхв теперь, что на ступенях избы он обернулся и глянул на крышу бани, все еще надеясь, что навьи прилетели и он наконец-то увидит их.

Черная баня стояла тихо; сбоку, из окна, к звездному небу поднимался густой дым…

Проснувшись на следующее утро, мальчик точно знал, что видел интересный сон; он долго лежал с закрытыми глазами, но припомнить его не смог. Огорчившись, Всеслав повернулся и осмотрелся. За окнами раскачивались просвечиваемые солнцем листья яблонь, а в светце догорала лучина. В красном углу висели белые с красной вышивкой полотенца, под которыми стоял перевязанный лентами сноп пшеницы прошлого урожая. Подземный бог Велес[11] дал тогда небывалый урожай, и на каждой ролье-пашне до снега стояли купы несжатых колосьев, завитых «на бородку» духу нивы, похожему, как говорил Всеславу пастух Кукун, на огромного медведя.

Припомнив об этом страшном звере, мальчик повернул голову к печке, где обычно стояла священная рогатина. Она хранилась в избе с незапамятных времен, и, хотя разглядеть на ней уже ничего было нельзя, Всеслав знал, что рогатина обагрена медвежьей кровью. Сегодня, в день

9 Лада — великая богиня весенне-летнего плодородия и покровительница свадеб, брачной жизни, ее дочь Леля (Леля, Ляля) — олицетворяла весну, весеннюю зелень, расцвет обновленной природы

10 бог земного огня, пламени

11 бог подземелья, удачной охоты, охранитель душ умерших, покровитель торговли, а также песен, сказаний, поэзии вообще («вещий Бояне, Велесов внук…»)

первого выгона скота в поле, этой рогатиной нужно было колдовать, и мальчик, поспешно одевшись, выбежал во двор.

Ночь давно ушла, и здесь все переменилось. Таинственные чудеса исчезли вместе с темнотой; у стены бани росли простая крапива и лебеда, а на огороде рядками зеленели всходы репы и капусты.

Ворота в хлев были широко распахнуты, перед ними, держа в руках священную рогатину, стоял отец. Справа от крыльца, на котором замер Всеслав, за плетнем медленно брели на луг к реке коровы. Пыль густо поднималась и тяжело повисала над улицей и стадом. Потом к изгороди подошел пастух Кукун, постучал кнутом по верее.

— Ростислав! — крикнул он. — Кончай волховать, отпирай ворота! — Увидев мальчика, добавил вопросительно: — Бегаешь уже?

Всеслав кивнул. Прошлой осенью он сильно занозил ногу, вздулся страшный нарыв, но пастух чуть ли не за день вылечил его, накладывая на разрез пчелиную восковую мазь и отвары из трав.

В Липовой Гриве Кукуна уважали все — и стар, и млад. В молодости он долго бродил по дальним землям, многое видел, слышал и познал и всегда душевно и легко приходил на помощь всякому смерду.

Сейчас он спокойно стоял у ворот и глядел на Всеславова отца, который положил в ряд перед выходом из хлева несколько вареных яиц, потом, ударяя рогатиной, погнал через них корову. Вышедшая следом мать заговорила вдогонку:

— Тебя прошу, красное солнце, и тебя прошу, ясный месяц, и вас прошу, зори-зориницы, и тебя прошу, галочка, и отвергните злых зверей от моего скота, все станьте мне в помощь! И ты, великий Род, не покидай нас! — повернулась она в сторону Ярилиной плеши.

Отец распахнул ворота, отдал Кукуну собранные с земли яйца. Проходя мимо пастуха, корова замычала, здороваясь после зимы с ним и со стадом, но в ответ ей лишь проблеяла белая коза, бредущая одиноко по обочине дороги.

Всеслав спустился с крыльца, подошел к отцу и Кукуну. Тот держал в руке трещотку-верещагу, на плече висел лук, но гуслей, которые он часто таскал с собой, на этот раз не было.

— …конь тебе нужен, бродишь вечно пеший, оттого и ноги стонут, — договорил Ростислав.

— Конь две гривны стоит! Две ногаты[12] скопить и то приналечь надо, а ты в миг определил…

Увидев приблизившегося мальчика, он протянул ему глиняную свистульку

— головку коня, засмеялся, но сразу переменил лицо и шутливо затараторил:

— Была у меня клячонка, восковые плечонки, плеточка гороховая. Овин загорелся, и клячонка растаяла, плеточку вороны расклевали. С тех пор вот люди меня все на ум наводят, да ведь я-то уж совсем при старости, помру скоро, в гниль пойду, и голова облезет. Уж и глазами я совсем обнищал, надо черемухового цвета попить.

— Воском на ночь залей, — посоветовал отец.

— Учи меня, учи, — улыбнулся, отходя от ворот, Кукун.

Отец с сыном долго глядели ему вслед, потом из избы появилась

12 гривна равна 20 ногатам или 50 резанам; ногата — цена поросенка или барана, резана — цена миски каши

нарядная, по сегодняшнему обычаю, мать. На шее у нее висела науз-коробочка с кольцом и сверкающим ножом; с шерстяной вятичской шапочки свисали, чуть позвякивая, начищенные кольца, на руках блестели серебряные браслеты.

Она тоже остановилась у плетня, густо пахнув мятой.

Когда отошло от веси неторопливое стадо, на улице показался козел. Он строго шел вперед, наклонив к земле бородатую голову, и изредка сверкал глазами, будто проверял, верно ли все было сделано в этот важный день.

Вдалеке, почти у самой реки, заиграл на своей длинной — почти в два локтя — свирели Кукун. Козел приостановился, вслушиваясь в призывный звук.

— Иди, дай ему, — протянула мать Всеславу ломоть хлеба.

Мальчик выбежал из ворот и помчался к козлу. Тот сразу же повернул к нему грозные рога и подозрительно уставился на протянутую еду. Недовольно принюхавшись, он мотнул бородой, сердито зашагал дальше.

Всеславу стало обидно, что козел не принял его хлеб. Мальчик знал, что посредине зимы, в просинец[13], когда начнут удлиняться дни, козла отведут на Ярилину плешь и убьют для Рода, чтобы великий бон и в новом году уберег весь от напастей.

Прошлой зимой в просинец на капизе собралась вся весь. Падал густой пушистый снег, и ничего вокруг не было видно; деревья в лесу накрылись белыми шапками, черные стены изб едва виднелись сквозь белую пелену. Всеслав тогда все запрокидывал голову, пытался разглядеть, где же рождаются снежинки, но до самого неба перед глазами шевелился белый неразделимый поток.

Снег делался все гуще, однако смерды недвижимо стояли перед кумиром и безмолвно ждали. Костер у подножья Рода разгорался, снег вокруг него таял, и проступала черная промерзшая земля.

Кукун торжественно подвел к огню священного козла, остановился. Немного погодя к костру под руки подвели дряхлого Милонега, старейшего в веси старика. Он был одет в кожух, изношенные лыковые лапти. Седая и такая же редкая, как у козла, борода, сразу взмокла от тепла и спуталась сосулькой. Перед козлом старик опустился на колени, стал маленькой узенькой ладошкой гладить его по морде, почесал за ушами. Потом он начал бормотать что-то невнятное, но тут из белой снежной пелены вдруг вылетел огромный ворон, стукнул над головами людей крыльями и опустился на Рода, столкнув вниз налипший на кумире снег.

Милонег от испуга пригнулся к земле, осторожно огляделся и взмахнул на птицу руками. Ворон лишь тяжело пошевелился на великом боге и громко каркнул.

Страх охватил смердов, они стали плотнее прижиматься друг к другу. Старик заторопился, он с трудом поднялся с колен, зашел, будто хотел сесть верхом на козла и достал из-за пазухи большой нож. Затем потянул животное за рог, но сил у Милонега было мало, и голова козла не запрокидывалась. Тогда старик опустил правую руку под горло жертвы, и

13 просинец — январь, связано с «сиять», т.е. первоначально: «время прибавления солнечного света»

тут же Всеслав увидел, как выплеснулась на снег алая кровь и от нее пошел густой пар.

Козел дернул головой, кровь хлестнула обильней; подскочил Кукун и подставил небольшое корыто. Невидимая тяжесть будто давила сверху на козла, он пытался не поддаться ей, но ноги его задрожали, и зверь упал на колени, уткнувшись мордой в наполненное кровью корыто. Всеславу почудилось, что он тоскливо прошипел, прежде чем рухнуть перед костром на залитый кровью снег.

— Вот и отлетел, — тихо сказали рядом с мальчиком; вокруг зашевелились, затоптались мужики и бабы.

Милонег подозвал рукой пастуха, вдвоем они подняли корыто и стали, отворачивая лица от жара, выливать кровь на горящие поленья. Потом старик обтер дно корыта снегом и швырнул красный снежок в огонь. Тот громко зашипел, дрова же все дымились и трещали. Вспугнутый ворон слетел с Рода, опять угрожающе проскрипел-прокаркал и исчез в снегопаде. Все понимали, что птица предрекла Липовой Гриве несчастье, и потому спускались с Ярилиной плеши угрюмые и безмолвные. Наверху, перед кумиром лежал в огне труп козла, и теперь над капищем вздымался черный дым.

Однако ни весной, ни летом ничего страшного не произошло, урожай боги дали богатый, про ворона забыли, и вот теперь определили к смерти на зимних колядках очередного козла. Он жил в хлеву у Кукуна и толстел.

Обиженный Всеслав возвратился к себе. Поднимаясь по ступеням в избу, он обернулся. Коровы разбрелись по берегу Клязьмы, а за рекой, освещенный солнцем, зеленел лес. И никто в Липовой Гриве не мог знать в то утро, что вечером на весь обрушится горе, счастливая жизнь Всеслава навсегда закончится и потянутся долгие годы изгойских[14] страданий.

Когда стемнело, Всеслав лег на полати, потом передумал и, поскольку печь не топилась, перебрался на нее, стал оттуда смотреть вниз.

У стены на лавке сидела мать. Сбоку от нее в кованом светце горело несколько лучин. Тихо шуршало веретено — Всеслав знал, что это длиннорукая невидимая богиня Макошь[15] помогает матери прясть. В веси недавно был даже случай, когда Макошь в отсутствие хозяйки одна намотала два клубка пряжи.

Сидевший за столом отец делал стрелы. Во время недавней охоты он нашел в лесу странную, нездешнюю стрелу с удивительным железным наконечником и теперь вырезал такие же. Его находка сперва насторожила весь, немедля послали двух смердов к соседям — в Чижи, но там было спокойно, и в округе ничего подозрительного больше не появилось.

Громко затрещал сверчок, и Всеслав вспомнил, что забыл налить молока домовому. Он слез на пол, плеснул в блюдце еду для лизуна, снова взобрался на печь. От его хождения сверчок смолк, в тишине раздавались теперь урчание веретена да осторожный стук об окна ветвей яблони.

---

14 гоить — значит жить; изгой — человек «изжитый», выбитый из жизни, вырванный из обычной среды

15 (Ма-кошь) — мать счастливого жребия, богиня удачи, судьбы

Долго Всеслав глядел на огонь, потом повернулся к матери.

— Расскажи сказку, — попросил он.

— Спи, поздно уже.

— Не хочу, расскажи.

— Погоди-погоди, лизун придет, он тебе ночью уши-то оторвет!

— Чего это?! Он свой, добрый, ничего вредить не станет!

Они умолкли, но тут протопал по полу отец, достал новую лучину и стал вставлять в светец.

— Ладно уж, вот слушайте, — негромко заговорил мать, — еще бабушка мне рассказывала. Чего-то вспомнила я… Говорят, жили дед и баба и была у них избушка. Как-то посадили они под стол — дед бобинку, а бабка горошинку. И вот эту горошинку курица поклевала, а бобинка скоро выросла под самый стол. Вот. Ну, приняли стол, она еще выше выросла, сняли накат, крышу — все растет. И выросла под самое небо. Дед и полез туда. Лез, лез и очутился на небе. Смотрит: стоит изба, стены из блинов, лавки из калачей, печка из творогу, вымазана маслом. Дед что, принялся есть, наелся и лег на печку отдыхать.

Приходят двенадцать сестер-коз, у одной один глаз, у другой два, у третьей три, и так дальше; у последней двенадцать. Увидели, что кто-то попробовал их избу, выправили ее и, уходя, оставили стеречь одноглазую. На другой день дед опять полез туда же, увидел одноглазую и стал приговаривать: «Спи, очко, спи!» Коза заснула, он наелся и ушел. На следующий день сторожила двуглазая, потом трехглазая, и так дальше. Дед все приговаривал: «Спи, очко, спи, другое, спи, третье!» — и так дальше. Но на двенадцатой козе сбился, заговорил только одиннадцать глаз, коза увидела его двенадцатым и поймала!

Мать умолкла, а Всеслав, немного подождав, спросил:

— Съела она его, коза?

— Зачем это?! Козы людей не едят, сказка такая. Про совесть, так бабушка поясняла. Ее, говорила, не обманешь, не заговоришь…

Внезапно за стенами избы что-то произошло. Сперва вдалеке возник едва различимый вихрь, будто упал на землю плотный порыв ветра и помчался к веси, наполняясь страшным визгом и конским топотом.

Отец застыл у стола, потом испуганно — Всеслав ясно увидел это — оглянулся на мать, медленно подошел к двери и вышел. Мать, неудобно повернув голову, смотрела вслед, а в руке ее все урчало веретено.

Топот, вой, крики ворвались в отпертые двери, скоро оказались совсем рядом, и тогда из сеней донесся громкий страшный стон, и в дверях показался отец. Он, шатаясь, пятился от чего-то жуткого, надвигающегося на него. Рубаха на спине его странно оттопырилась, а внизу, вдоль пояса, быстро расплывалось черное пятно. Отец попытался ухватиться за косяк двери, но пальцы бессильно проползли по дереву, он зашатался на пороге и опрокинулся на спину. В груди его торчала стрела; после падения отца она выдвинулась вперед, и кровь быстро стала окрашивать рубаху. Отец медленно согнул руку, тянясь к стреле, но вдруг лицо его побелело, он вытянулся и замер.

Мать тяжело стала подниматься с лавки, но тут в сенях простучали тяжелые шаги, и в проеме двери возник страшный человек. Он был одет в длинную куртку, обшитую железными пластинами; поблескивающий шлем оторачивал серый волчий мех. Темно-коричневое лицо лоснилось от пота.

На миг задержавшись в двери, убийца отца оглядел избу, увидел мать

и затопал к ней. Железная чешуя на нем негромко зазвенела. Приблизившись, он несильно ударил мать зажатым в руке луком и, прорычав что-то непонятное, толкнул к двери. Потом выдернул из светца лучину, поднял повыше и, поворачиваясь вокруг, стал высматривать.

Сорвав в красном углу нарядные полотенца, он бросил лучину и, снова ударив мать в спину, направился к выходу.

Окаменевший от страха Всеслав увидел в черном дверном проеме мать, странно помахавшую ладонями опущенных рук, будто она навеки прощалась с сыном, потом снаружи опять раздались визг и крики, короткие жуткие вопли и отрывистый свист.

В избу откуда-то стал наплывать дым; мальчик осторожно повернул голову: сноп в углу горницы полыхал, но самое грозное было теперь за окнами. Там повсюду гудело пламя. Увидев пожарище, Всеслав почувствовал, как вмиг потеплело в избе, дым сгустился и сизыми облаками окружил тускнеющую лучину. Тяжело стало дышать, однако мальчик боялся кашлянуть, боялся пошевелиться и лишь прижимал ко рту скомканную сорочку.

Сдвинулась, проскрипела матица[16], и из щелей на пол посыпалась сухая земля. Потом потух светец, и теперь по заполнившему избу серому дыму заметались красные отблески.

Замирая при каждом шорохе, Всеслав медленно сполз с печки, на коленях пробрался к окну и, осторожно пододвинув лавку, поднялся на нее, высунулся наружу. До толстых веток он не дотянулся и упал на землю. Потом Всеслав долго лежал у стены, вслушиваясь в доносящийся отовсюду гул пламени. Здесь ему показалось безопасно, но скоро он ощутил, будто изба мелко дрожит, приложил руку к бревну оклада, но тут же отдернул ее и торопливо пополз прочь, а из окон с треском и гулом стало вырываться жаркое пламя.

Озираясь, он прополз через огород; пожар позади него полыхал все сильнее. До самой завалинки огонь охватил соседнюю избу Кукуна; оттуда, из середины пламени, вдруг донесся таинственный звук — что-то громко, одно за другим разрывалось и тут же сгорало в огне. Напуганный Всеслав опять прижался к земле, а в избе пастуха по-прежнему что-то коротко стонало. Потом там ухнуло, заскрежетало и, взметнув облако искр, провалилась внутрь крыша.

Только теперь мальчик понял, что непонятные звуки, раздававшиеся в погибшей избе, это стон лопающихся струн на гуслях Кукуна. Теперь пламя ревело вокруг, но и сквозь него слышны были доносившиеся от реки крики. Скоро, и как-то одновременно, стало стихать — шум налетчиков и свирепствование огня, уничтожавшего Липовую Гриву.

Всеслав в тяжелом беспамятстве пролежал подле изгороди до рассвета, потом пополз к лесу.

…Волхв и сейчас хорошо помнил, как он тогда, дрожа от страха, пробирался среди черных деревьев и не понимал, почему его вдруг окружил покой. Не хотелось больше двигаться, думать, а хотелось заплакать, бесконечно лежать тут и чтобы новый день никогда не начинался…

---

16 потолок в избе делался из досок, опиравшихся на стену и центральную балку — «матицу»

В утреннем сумраке леса вдруг прошумел леший, мальчик встрепенулся, сильнее прижался к земле, усыпанной здесь сухой хвоей, но испугавший его звук больше не повторился, и тогда Всеслав робко поднял голову. Мрак еще стоял среди деревьев, лишь вершины их чуть осветило, и там зашелестела листва.

Когда совсем рассвело, Всеслав стал осторожно пробираться в весь. Он часто замирал, напряженно прислушивался, но из Липовой Гривы не доносилось ни единого звука. Понемногу осмелев, мальчик поднялся на ноги и побрел к своей избе.

Дотла сгорело все, кроме ворот. Хлев, овин, изба, превращенные в дымящиеся угли, грудой лежали на земле. От них несло тугим, плотным жаром и растекался над самой землей сизый чад. Налетел порыв ветра, смел с пепелища невесомый серый налет, и пепел стал оседать на мальчика.

Старая яблоня, росшая возле окон, стояла черная, с покоробившимися, пожухлыми листьями.

Всеслав испуганно шарил по пожарищу глазами — ведь там лежал его отец, но ничего страшного не обнаруживалось. Потом он заметил под треснувшей, полуразрушившейся печью блюдце, в которое наливал для домового молоко. От жара блюдце раскололось и почернело.

От горячего едкого дыма у Всеслава пылало лицо, беспрерывно текли по щекам слезы, но он не отходил от пепелища. Так прошло очень много времени, и вдруг он услышал посторонние в сгоревшей веси звуки, испуганно повернулся: по улице обессиленно брел древний Милонег. Шаркая по дороге лаптями, он подошел к воротам, оперся на посох и долго стоял так, опустив к земле глаза. Белые, усыпанные пеплом редкие волосы старика шевелились на коричневой голове.

— Больше никого не видел? — наконец глухо спросил он.

— Нет, — прошептал Всеслав.

Они умолкли и опять надолго замерли перед потрескивающим пожарищем; иногда от неощутимого ветра со скрипом растворялись ненужные ворота, Всеслав и старик вздрагивали, но через ворота никто не входил.

…Седой Всеслав по-прежнему недвижимо сидел перед остановившейся Клязьмой. Далекие воспоминания сейчас почти не волновали его, удивительным представало лишь то, что, хотя минуло множество лет, прожита тяжкая жизнь, в памяти так и не стерлись события того страшного утра…

…Милонег вел Всеслава на Ярилину плешь к Роду. Они медленно шагали по берегу, истыканному, разбитому конскими копытами; лишь узкая песчаная кромка у самой воды была сглажена речным потоком.

Мальчик иногда останавливался и подолгу смотрел на лес за Клязьмой. Куда-то туда страшный ночной человек увел его мать, других жителей веси. Нагнав старика, он спросил:

— А кто они?

— Упыри эти? Кто теперь узнает, налетели из-за Оки-Волги, погубили народ и умчались…

— Искать их там надо? — показал вдаль Всеслав.

— Может, и там.

У вода в капище старик опустил на землю мешок, сел рядом,

повернулся к мальчику.

— Сходи в лес, сучьев набери!

— Зачем в лес? В веси дров на три зимы хватит!

— Иди неси.

Всеслав спустился с холма и зашагал к своей избе. Проходя мимо двора Кукуна, он свернул, но тут же испуганно остановился, увидев в траве множество мышей. Большая стая зверьков, выкуренных из сусеков, перебегала с места на место, ища укрытия.

Возвратившись на дорогу, мальчик двинулся дальше. Сгоревшие избы все еще тлели, но ветер стих, и дым от пепелищ медленно уплывал к небу.

Над дорогой проносились ласточки. Черно-белые комочки стремительно пролетали над землей, пропадали вдали, потом снова появлялись — их гнезда в тот день сгорели тоже.

Выломав часть плетня, Всеслав уложил на него несгоревшие дрова и поволок все к капищу. Перед подъемом на плешь он остановился, понес несколько поленьев на руках. Милонег дремал и не пошевелился при его приближении. Мальчик осторожно растолкал старика.

— Вставай уже, дрова есть.

Он перенес поленья в кумирню, сложил к подножью Рода. Вместе с Милонегом они опустились перед почти угасшим костром на колени и, постепенно подкладывая дрова, стали дуть на угли. Понемногу огонь разбежался, густой дым потянулся вверх, загораживая деревянное лицо кумира.

Протянув по земле мешок, к огню приблизился старик, достал белого петуха со связанными лапами и бросил его в пламя. Птица клекнула, забила крыльями, сильнее раздувая огонь.

Вдруг петух невероятно далеко вытянул шею и выставил из пламени голову, будто хотел в последний раз взглянуть на Всеслава. Но тут же огонь вспыхнул сильнее, черный дым проплыл перед Родом и стал растворяться над Ярилиной плешью.

…Выглянувший из костра петух и мгновенно растаявший в небе над головой Рода дым были последним ясным видением далекого дня, оставшимся в памяти волхва. Все случившееся потом перемешалось, сгладилось и проступало лишь разорванными, горькими частями.

Оставшееся тогда лето Всеслав и Милонег прожили в разоренной, погубленной врагами веси. Собирали на огородах урожай, в сохранившихся после пожара погребах отыскивали пуза[17] с солью, зерно, мед. Ловили в Клязьме рыбу и понемногу приспособились к такому существованию.

Но вдруг умер Милонег. Ранним осенним утром Всеслав, проснувшись, ужаснулся, увидев остановившиеся, ослепшие глаза старика. Перепугавшись, он поспешно выполз из шалаша, в котором они спали, и замер неподалеку, прижавшись лицом к мокрой от росы траве. Тот день он провел как во сне, а на следующее утро набросал в шалаш с мертвым стариком хворосту, поджег его и, дождавшись, когда пламя разгорелось, двинулся по берегу Клязьмы, уходя из опустевшей совсем, погубленной Липовой Гривы.

Изгой Всеслав медленно поднял голову, огляделся. Ему показалось,

17 пузо — полотняный мешок для соли

что вот здесь, по этому месту одиноко шагал он тогда, неведомо куда удаляясь от родного пепелища. Как и сегодня, ярко и светло в то утро полыхало на небе солнце, над рекой пролетали черноголовый чайки и из воды порой выпрыгивала, сверкая серебром чешуи, рыба. Входя в лес, он тогда оборотился. Желтая дорога с редкими клочьями травы на ней выползала из зеленых огородов и черных холмов углей с торчащими из них растрескавшимися печами, подходила к реке, поворачивала там и, сузившись, ныряла в лес.

Над Ярилиной плешью поднимался красный Род, и Всеславу в тот миг показалось, что великий бог, остающийся здесь в одиночестве, осуждающе смотрит ему вслед, а перед кумиром догорают последние поленья; скоро они угаснут, и прежде вечный дым, поднимавшийся от этой земли к ирью-раю с душами предков, иссякнет.

В лесу скоро потемнело, и, вспомнив то утро, старый Всеслав теперь горько усмехнулся: на долгих сорок лет шагнул он тогда из света в сумерки. Побывал в закупах и холопах[18], жил и на вятичских, и на родимичских землях, в чужих весях одиноким изгоем орал — пахал чужие рольи, и только к седым волосам решил пойти в Киев, великий город, где мог жить каждый русич…

3

Яркое сверкание на солнце слюдяных окон княжеской гридница поразило Всеслава. Рубленное из огромных бревен помещение, куда князь мог созвать более четырехсот человек своей дружины, бояр и прочего люду, несокрушимо поднималось посредине окруженного тыном двора.

Потом изгой увидел красновато-коричневый, высокий — в два ряда окон, один над другим, — дворец. Такого чуда он себе и представить не мог. Круглые окна, заделанные удивительно прозрачным стеклом, красные изразцовые наличники дверей, искусно уложенные крашеные кирпичи, связанные белыми полосками извести. Неподалеку поднимался такой же сказочный женский терем, а вокруг были установлены медовуши, бани, погреба — и все огромное, небывалое, поражающее красотой.

Весь день бродил по Киеву Всеслав. На Горе по улице мимо него шествовали бояре в парчовых и шелковых одежда, в плащах со сверкающими золотыми застежками и в сафьяновых сапогах, прошитых бронзовой проволокой. Вышагивали тут важно, строго.

Наоборот, на Подоле люд двигался вдвое быстрее. Кузнецы, швецы, плотники, гончары — все в широких портах, подпоясанных ремешками, в рубахах-косоворотках, лаптях, реже в сапогах, — то заполняли всю улицу, то вдруг на ней становилось пусто и громче делался дробный грохот сотен молотков из бесконечных рядов кузниц с дубовыми станками для подковки лошадей.

Солнце стояло высоко над городом, когда Всеслав прибрел на торжище. Чудеса продолжались: один подле другого стояли кованые сундуки с янтарными, бронзовыми, золотыми украшениями. Тут и там блестели в руках продавцов ошейные бронзовые подвески с зернью и

18 закуп — наемный сельхозработник, получивший ссуду от боярина-землевладельца и обязанный ее отработать; холоп — (кабальный, полный) — в Древней Руси раб

бубенчиками, янтарные, стеклянные и серебряные браслеты, височные кольца, слюдяные и каменные бусы, мужские и женские пояса, тоже украшенные золотом, серебром, бронзой.

На кольях и перекладинах висели бобровые, собольи, куньи, беличьи, лисьи, медвежьи, волчьи шкуры. Иноземцы рядом раскидывали на лавках парчу, шелковые ткани-поволоки и заморской работы браслеты, бусы, подвески, кольца, пояса.

В следующем ряду продавали брагу, сусло, хмельной мед.

По торжищу толпами бродили горожане; между ними пробирались нищие, большей частью слепцы, громко певшие о страшном Змее-Горыныче.

Постаревший, быстро устававший теперь изгой Всеслав совсем оглох от непривычного шума, ошеломленно разглядывая неведомый ему мир. Казалось, что огромный город, огороженный деревянными и земляными стенами, живет совершенно по другому порядку, и он, вятичский бродяга, никогда не найдет здесь для себя места. Княжий «отень стол» в несокрушимой гриднице, торопливые люди, не обращавшие на пришельца никакого внимания, — все было новым, пугало и удивляло.

В сумерках Всеслав наконец вышел из Киева и присел на песок неподалеку от пристани. Тяжелая усталость навалилась на него, и растерянный изгой долго бездумно смотрел на потемневшую воду Днепра. Сюда, к этому причалу, приплыл он сегодня на рассвете со смутной надеждой на что-то невысказанное, и вот, разбитый, равнодушный ко всему, сидел тут вечером.

Темнота на берегу быстро сгущалась, становилось тише, безлюднее; потом на пристани зажгли огни и началась новая работа. Множество черных учан, покачивая мачтами, принимало кадки с зерном и медом, круги воска, свернутые кожи и мешки с мехами. Объединившиеся в отряд купцы готовились отплывать по Днепру к Русскому морю и далее, к грекам.

…Потом в памяти Всеслава появилась мрачная землянка, вырытая близ княжьего двора. Привел его туда старик Пепела, неожиданно подошедший к нему на речном берегу.

…Он был маленького роста, на лысой голове лишь на висках и за ушами росли серые жидкие волосы, прижатые черным железным обручем. Он легонько опустился подле изгоя, долгим взглядом осмотрел его, потом спокойно спросил:

— Откуда?

— Из вятичей.

— С Оки?

— Нет, с Клязьмы.

— Чего сюда прибрел?

Всеслав молчал; вчера, позавчера он еще знал, что идет в Киев, чтобы избавиться от одинокой, изгойской жизни в весях, попрятавшихся среди дремучих лесов. Стольный же Киев, объясняли ему знающие калики[19], весь набит такими же выпавшими из племен людьми. Потому и устремился за тридевять земель поседевший и постаревший к тому

19 калика — паломник, странник, нищий, большей частью слепой, собирающий милостыню пением различных стихов

времени изгой. Но вот первый день жизни тут показал, что невероятно тяжело будет ему пристроиться и к здешнему шумному водовороту.

Всеслав нехотя рассказал Пепеле о своей неудавшейся жизни и, закончив, снова молчаливо уставился на реку.

По пристани метались огни, топали по доскам сходен люди, перетаскивающие грузы, а вдали, за широкой рекой, особенно густо темнела ночь.

Все вот так… — тихо выговорил старик, помолчал, потом добавил: — Ошибся и не ошибся ты, вятич. Тут, в Киеве, половина народу из таких, как ты, составлена. Пришлые, беглые, из холопов, из смердов, всякая чадь… Кто счастье ищет, кто от счастья сбежал — теперь тебе свою полоску доли найти надо. Руки городскому делу обучить нужно, ремесло узнаешь — тут и место твое. Хочешь, пошли со мной, будешь с нами изразец жечь…

По долгому взвозу они двинулись к городским воротам. Было совершенно темно, но суета и движение на дороге не утихали. Выкатывались сверху, из мрака, несколько возов, кони, приседая и упираясь копытами, осторожно передвигались к пристани. Несколько возниц держали горящие просмоленные палки, и порой во тьме сверкали белками глаза лошадей, испуганно косившихся на огонь.

Потихоньку обоз скатывался вниз, на дороге ненадолго делалось тихо, лишь в стороне трещали не угомонившиеся до сих пор кузнечики. Потом на темных угорьских лошадях мимо Всеслава проехали безмолвные, словно тени, всадники. Городские улицы теперь опустели, но за бревенчатыми изгородями в избах светились окна. Тут жили ремесленники; ни слюды, ни стекла у них не было, и через верхние, волоковые, окна выплывал наружу дым.

Маленький старик шустро шагал впереди Всеслава. Они подошли ко княжьему двору, и тут Пепела свернул вбок и повел гостя по узкой тропинке среди высокой пахучей лебеды. Скоро в потемках показалась невысокая постройка; по вырытым в земле ступеням сошли вниз. Отодвинув рогожу, старик потянул изгоя за собой.

Густая душная тьма заливала землянку. Всеслав напряженно вслушивался в пустоту и скоро различил в ней разные звуки: слева всхрапывал во сне невидимый человек, что-то прошуршало в дальнем конце помещения и смолкло.

— Ремесло тут живет, землянка для всех. Иди осторожно!

В полном мраке Всеслав, держась за костлявое плечо Пепелы, пробрел к стене и там наткнулся коленом на лавку.

— Ложись, утром до света разбужу, — прошелестел в ухо старик.

Ощупав руками лежанку, Всеслав сел на нее, потом бесшумно улегся. Рядом едва слышно копошился Пепела. Изгой растянулся на лавке и улыбнулся от удовольствия: как все ладно обернулось! Берегыни[20] не оставили его, вывели на добрых людей и приютили.

Потом перед глазами замелькали городские чудеса, и его стал окружать невнятный гул голосов. Еще немного погодя совсем рядом насмешливо произнесли:

— Ну вот, наш сильномогучий богатырь Пепела нового странника привел!

---

20 по древнему славянскому верованию, всю природу населяли духи зла — упыри-вампиры и духи добра, оберегающие человека, — берегыни-русалки

Пробудившийся Всеслав открыл глаза. От него отходил человек в темной сорочке, босой.

Посреди землянки — вырытой в рост человека яме — стояла сводчатая печь. Справа от нее на столе горела тусклая плошка, и по плетенным из лозы и тонко обмазанным опавшей кое-где глиной стенам сейчас двигались тени.

Босой человек достал несколько мисок, ложки, поставил на стол большой глиняный котел, над которым расплывался пар.

Вокруг стола молча рассаживались люди, брали из лукошка по ломтю хлеба. Когда Всеслав и Пепела опустились на лавку, к ним придвинули по миске пшенной каши, политой медом, дали хлеба с куском вареного мяса.

Ели спешно, без разговоров. Пепела управился прежде других, но сидел тихо, задумавшись.

— Ты скоро жевать совсем перестанешь, — обратился к нему сосед Всеслава, — пощупай-ка себя, исхудал так, что скоро через запертые двери пройдешь!

— Дума его гложет, — отозвались с рая стола. — Волчье молоко ищет да яйца жар-птицы… От смерти оборону отыскивает!

Однако никто вокруг не улыбнулся, только Пепела встрепенулся, легко поднялся на ноги.

— Дурак дурацкое и говорит! Живой рукой доедайте — и за работу!

Ремесленники зашагали к выходу. Вместе с ними поднялся из землянки и Всеслав.

Ярко светило летнее солнце, дворец князя Владимира будто раскалился от тепла и краснел неподалеку багровыми кирпичами.

…Волхву Соловью показалось тут, на берегу Клязьмы, что именно такое же, как тогда, пятнадцать лет назад, ласковое тепло прижимается к нему, еще ярче высветляя в памяти тот день, когда остановился он, ослепленный яркими лучами после темного приюта. Вчерашняя растерянность исчезла, предстоящая жизнь в Киеве вместе с ремесленниками казалась лучшей из всего, пройденного доселе…

Его поставили месить глину. Всеслав разбивал глыбы на небольшие куски, бросал в деревянное корыто, а затем подолгу топтал босыми ногами. Мокрые серо-коричневые комья были упругими, холодными, царапали кожу, но постепенно размягчались, прогревались и легче расползались под ступнями.

Изредка подходил Пепела, мял глину в руках, велел Отроче, напарнику Всеслава, добавить воды. Тогда Всеслав выходил из корыта; от непривычки у него сильно дрожали ноги, и он боялся, что не осилит работу до конца дня.

Рядом с ним ремесленники молчаливо раскатывали в деревянных рамах глину, относили их к большой печке, густо дымившей посреди двора.

Солнце в тот день с необычайной скоростью пронеслось по небу; чистый утром воздух запылился и помутнел, беспрерывный стук молотков постепенно делался привычным изгою.

Когда трудовой день закончился и все устало двинулись к землянке, Всеслав подошел к Пепеле, протянул сохранившиеся у него восемь ногат и сказал, что хочет угостить своих новых сожителей. Старик отделил половину денег, остальное вернул Всеславу, потом подозвал Отрочу.

— Возьми корчагу и принеси из корчмы меду, он вот денег дал!

В землянке Всеслав впотьмах нащупал печурку, разжег от тлевших углей лучину, вставил ее в расшатанный в земляной стене светец. На непослушных от усталости ногах подошел он к своей лежанке, устало опустился на нее.

Скоро зашумели голоса, и умытые, посвежевшие ремесленники стали рассаживаться вокруг стола. Веселый парень, утром подходивший к спящему Всеславу, увидев его, крикнул:

— Эй, вятич, давай сюда! Поработал — иди полопай, пока Пепела твою долю не сжевал. Иль коленки дрожат и шелохнуться не можешь?!

Всеслав проковылял к лавке.

— Погодите хватать, — остановил едоков Пепела. — Отроча за медом поскакал — Всеслав угощает вас всех, мохнорылых!

— Ну, это ты в самое сердце попал, странник далекий, — весело выкрикнул парень. — А я ведь думал, что ты спесив некстати — за день честным людям слова не кинул!

— Меня Лушата кличут, — легонько толкнул в бок Всеслава сосед. — Ты на этого верещагу плюнь…

Глухо простучали у входа шаги, и в землянку спустился запыхавшийся Отроча. Поставив на стол тяжелую корчагу, он принес и раздал сидящим разномерные глиняные и деревянные ковши и кружки.

Растолкав двух мужиков, он уселся к столу и сразу же повернулся к Пепеле.

— Послушай, Пепела! Тихо вы, вражьи холопы! — прикрикнул он на ремесленников. — Ты волхование знаешь, уставься на воду, погляди. Мне сейчас в корчме хромой перевозчик опять про князя весть повторил, как песком сердце обсыпал…

— Погоди ты, — перебил его Лушата. — Этот перевозчик что дедушка из-под девятой сваи[21]; как в корчме глаза переменит от меду, так и начинает всех пугать! Сейчас ты помолчи, пускай вятич хоть раз рот раскроет… Ведь издалека человек в Киев приволокся!

Всеслав не хотел говорить, и начал он свой рассказ неохотно, но постепенно воспоминания все ярче разгорались в его душе, картины страшной ночи и пожарища до мельчайшей черточки вставали перед глазами — и он все шептал и шептал о предбывшей жизни, об опаленной яблоне, воротах, скрипевших на ветру перед сгоревшей избой, о старике Милонеге, трясущимися руками бросавшем в огонь перед великим Родом шипящего белого петуха.

Всеслав умолк оттого, что позади на стене погасла последняя лучина и наступила тьма. За столом долго никто не двигался, потом невидимый кто-то стал раздувать в печи уголья, разгорелась лучина и наступила тьма. За столом долго никто не двигался, потом невидимый кто-то стал раздувать в печи уголья, разгорелась лучинка и осветила седые волосы Пепелы.

— Ну ты и говору, вятич, соловей прямо, — произнес тихо Лушата. — С тобой мы тут по ночам пропадать не будем…

— Ты про мать-то больше ничего не слыхал? — спросил пожилой ремесленник.

— Нет.

---

21 т.е. водяной

— Поклонись Пепеле, он на воду посмотрит, может, скажет. Второго такого волхва в Киеве нет. Молнии укрощает! Вот токо христиане в своем храме Ильи зубы на него точат, пришибить хотят!

— Раз за Волгу увели, значит, жива, а коли жива — надеяться надо. Слышь, вятич?!

Пепела все молчал. Потом, когда все притихли, едва слышно проговорил:

— На всей Руси теперь бед избыток…

Опять все умолкли и долго сидели неподвижно, каждый припоминая свое. По столу бегало множество муравьев, громко жужжали мухи.

— А правда, — обратился к старику Лушата, — что те люди, что за Волгой живут, меду не пьют?

— Ну вот, одна у волка песня и ту перенял! — заговорил пожилой ремесленник. — А пьют они пуще нашего. У них конопля своя растет, так они ее разотрут с водой и пьют, с трех глотков человек в беспамятство впадает!

— Ты понял, Соловей? — улыбнулся Лушата. — Все он уже знает, пора его убивать! Да и древних лет достиг. Ему теперь положено на печи в тараканьем молоке по полулокоть лежать и ждать, когда свинья на белку начнет лаять…

— Умолкните! — выкрикнул Отроча. — Скоро по всем вам земля застонет! Знайте вот, что князь Владимир с дружиной крестился! Кумиров наших на христианских поменял!..

— Ну и что?! Ольга тоже крестилась, а мы как жили, так и живем со своими кумирами! — перебил его Лушата.

— Опять то же! Услышь! Князь крестился, зовут его теперь не Владимир, а Василий; ведет он сейчас из Царьграда и Корсуни крестителей для нас… Перевозчик говорит, что царьградские князья за него царицу Анну отдали, а он за то обещал всю Русь окрестить!

— Никогда такого не будет, — уверенно проговорил Лушата, — мы со своими богами живем с тех пор, когда еще и пращуры не родились!

— Постойте! — остановил разговор Пепела и обратился к Отроче: — Тебе это только хромой перевозчик говорил?

— Ты что?! Весь Киев гудит!

Обеспокоенный голос старика всех насторожил. Всеслав, всего второй день живший в городе, сперва даже не понял, о чем говорят ремесленники, потом странная мысль обожгла его. Как могут быть другие боги?! И кто может принудить его поменять свою кумирню на христианскую церковь?!

…Соловей горько усмехнулся. Тогдашняя весть Отрочи все-таки не напугала ремесленников. Уже много лет в Киеве жили христиане, многие тут знали и об их боге Христе, видели его церковь, но сами ходили на капище — к Перуну, Макоши, Велесу — и верили, что эти боги лучшие на свете. Старый Всеслав вспомнил, что тогда, в землянке, он после слов Пепелы поднялся из-за стола, нашел блюдце, налил в него меду, поставил в подпечье, проговорив: «Это домовому!» — и все, успокоившись, заулыбались. Опасная весть Отрочи скоро почти забылась; лишь когда стали укладываться по полатям, Пепела громко сказал Всеславу:

— Утром пойдешь со мной на капище!

Горячее летнее солнце освещало избы и сады шумного, дымящего

окнами Киева. Умывшийся у рукомойника Всеслав вслушивался в звон кузниц, топот и ржание коней, голоса ремесленников в землянке. Скоро оттуда поднялся Пепела, подошел к вятичу, глянул на него, и Соловей вздрогнул — у старого волхва были разные глаза: один черный, зоркий и молодой, другой серый, помутневший и уставший, будто только его коснулась многолетняя жизнь Пепелы.

Долго шли они по незнакомым Всеславу улицам Киева и наконец остановились у входа в кумирню, где молча стояло множество народа. Над их головами высоко поднимался Перун с серебряными волосами и золотыми, сверкающими усами. Синеватый дым медленно проплывал перед деревянным лицом кумира и таял в солнечном свете. С обеих сторон Перуна возвышались другие боги — Макошь, Дажьбог, Стрибог, Переплут[22]. На окружавшей капище изгороди шевелились на ветру вышитые полотенца.

«Пошли», — потянул Всеслава Пепела. Они вступили в кумирню и замерли среди безмолвных людей. Отсюда Соловей увидел стоящие перед богами на земле снопы жита и проса, корчаги с зерном, пучки трав.

На большом плоском камне полыхал костер, пламя его все разгоралось, дыша по сторонам плотным жаром.

Стоявший ближе всех к огню древний старик медленно двинулся вперед, подняв над головой руки. Всеслав увидел, что волхв держит молодого ястреба. Выдернув из ладоней человека крыло, птица взмахивала им, жестоко долбила старика по пальцам кривым клювом. Свирепые глаза хищника сверкали ненавистью.

Приблизившись к кумиру, волхв бросил ястреба в огонь. Уже слышанный однажды звенящий шип вырвался из пламени, связанная птица забилась в костре, но от взмаха ее крыльев пламя лишь сильнее разгоралось.

Когда огонь, уничтоживший ястреба, успокоился, волхв вновь поднял руки. Теперь в них был небольшой кожаный мешок. Протянув его вперед, старик вытряхнул гадюку с привязанным к ней камнем. Змея утонула в пламени, но тут же вытянулась вверх, распахнув страшную пасть, кожа на ней стала вздуваться пузырями, и гадюка вспыхнула.

В настороженном безмолвии Всеслав с трепетом глядел на Перуна, но бог не обращал на него внимания. Блестя серебряными волосами, кумир уставился куда-то вдаль, за Днепр.

Принеся кумирам жертвы, киевляне постепенно разошлись, и на капище остались лишь Пепела и Всеслав. Старый волхв высыпал в костер несколько горстей жита — зерна защелкали, затрещали, разбрасывая в стороны искры. Потом перешли к Макоши, перед которой в землю было воткнуто множество стрел с накрученными на них льняными и полотняными куделями.

Пепела достал из лукошка соты, положил перед богиней. Гудевшие вокруг мухи обсели мед, но волхв отогнал их, накрыл дар холстинкой.

После подношения даров вышли с капища, но старик скоро остановился и присел на траву. Соловей опустился рядом; он до сих пор не понимал, зачем волхв привел его сюда, сняв на целое утро с работы.

— Послушай, вятич, — негромко заговорил Пепела. — Я узнал —

22 Перун — бог грома и молний, Дажьбог — бог солнца, податель благ, Стрибот — бог ветра, Переплут — крылатый пес, охраняющий семена и посевы от поедания зверьем и вытаптывания

Отроча сказал правду: князь крестился и поклялся царям перевести в новую веру всех русских людей — от Дикого Поля до Чуди. Сейчас он с дружиной подплывает к Киеву! Так что не вовремя пришел ты сюда. И вижу я, что человек ты чистый, с ясной совестью. На истину лгать не умеешь, и потому тяжко тебе будет. Я в жизни всего насмотрелся — и слезы от нищеты ходил продавать, и душа не един раз с трудом оживала. Народ, что в землянке натеснился, не враг, но привык золото в ртути растворять; ты же новый… Отныне не отходи от меня, что знаю, тебе передам, о травах-зельях расскажу, тайны мудрые раскрою. Гляди и вникай! Мне же скоро смерть махнет, призывая, я ее чую, близко она! Вечером сегодня на воду посмотрю, тайны выведаю.

Остаток дня прошел в труде, но Всеслав не ощущал усталости — слова волхва и предстоящее волхование будоражило его. Он не понимал действий Пепелы, а страх, переданный ему стариком, все сильнее и сильнее разрастался в его сердце.

Когда стемнело и предупрежденные ремесленники быстро отужинали, волхв достал из своих вещей начищенную медную лохань и, громко стукнув ею, поставил перед собой.

Этот звук, как грозное повеление, разогнал жильцов землянки по темным углам. Волхв принес в ушате воды, наполнил лохань.

— Свети! — прошипел он Соловью.

Всеслав взял в печурке несколько лучин, зажег и приблизил к волхву. Старик мял в руках небольшой кусок воска, изредка хрипло дышал на него, потом подолгу разглядывал страшными своими глазами. А воск размягчался и оживал: отщипывая от него кружочки, Пепела сжимал их в ладонях, и тут же из рук волхва показывался человечек с раскинутыми в стороны руками.

Всеслав каждый раз замирал от страха перед чудом, но старик грозно взглядывал на него, и изгой ближе подносил горящую лучину.

Потом Пепела осторожно опустил восковых человечков в лохань, и они чуть заметно закачались на черной воде. Скоро рядом с ними старик поставил две восковые же лодочки.

Лучина в руке Всеслава подрагивала, и красное пятно огня на мрачной воде все время колебалось. В землянке было так тихо, что Соловей испуганно огляделся, но поразился еще сильнее, увидев в потемках поблескивающие глаза ремесленников.

Пепела достал из-за пазухи короткую коричневую палочку и стал тереть ее о свои седые волосы. Когда он отводил от головы жезл, редкие лохмы его вытягивались вслед и на них вспыхивали голубоватые искорки. От ужаса Всеслав похолодел.

Волхв же вдруг отдернул руку и низко над лоханью провел жезлом; восковые человечки ожили, закачались на воде лодки.

— Великий Род и могучий Сварог — огонь горячий! Помогите нам! — громко заговорил Пепела.

Он водил над водой жезлом — скоро одна лодка перевернулась, крохотные люди скопились в середине лохани, и их тени зашевелились на чистом медном дне.

После долгого молчания волхв спрятал жезл, прошептал Всеславу: «Отойди!» — и низко склонился к воде. Седые пряди повисли над лоханью.

Шло время, а Пепела все рассматривал там что-то, видимое лишь

ему. Вдруг он распрямился, отодвинулся от стола, медленно опустился на колени и поцеловал утоптанную землю.

Поднявшись на ноги, волхв обвел всех взглядом, уперся им во Всеслава, поманил к себе. Когда Соловей на онемевших от страха ногах подошел, Пепела положил ему руку на плечо, нажал.

— Целуй тоже!

Всеслав, отведя в сторону горящую лучину, прижался горячим лбом к твердому полу.

— А вы все знайте, — заговорил над ним волхв, — что скоро Днепр потечет вспять и земли начнут перемещаться! Византийская земля займет место Русской, а Русская повернется на место Византийской. И так переменятся друг с другом все земли!

Всеслав не понимал пророчества; он верил волхву и тому верил, что земли сдвинутся, но ему хотелось спросить, как же тогда станет жить он, куда, спасаясь, нужно будет бежать ему, в какие веси?

Но он не решился задать этот главный вопрос.

Потом Пепела подошел к столу, выловил из лохани человечков и ладьи, выплеснул наружу ключевую воду и лег на лежанку, отвернувшись к стене.

В черной тишине Всеслав долго не мог уснуть. Вокруг него по углам горестно вздыхали ремесленники, и, как казалось, в ту ночь никто не спал.

…Старый изгой вздрогнул. Ему послышалось, что неподалеку хрустнула ветка и кто-то тяжело прошагал. Всеслав резко обернулся: лужайка в лесу по-прежнему светилась под солнцем, над ней носились стрекозы и висела серым пятном мошкара. В лесу было темно, и волхву почудилось, что там сильно раскачиваются ветви деревьев, но, сколько он ни вглядывался в зеленый сумрак, ничего опасного не увидел. Все-таки он придвинул к себе лук и тулу[23] со стрелами, потом снова повернулся к реке. Тревога не улеглась в душе Всеслава. Недавняя мнимая опасность тут, в лесу, или грозные давние события, наступившие утром после пророчества Пепелы, теребили сердце.

Там, в Киеве, все началось под вечер…

Началось все под вечер. Покрасневшее солнце, медленно остывая, закатывалось за лес, уходя в ирье. Стих перестук молотков, и над городом растеклась вечерняя тишина. Остановили работу и ремесленники, однако вдруг на улице зашумели, оттуда донеслись выкрики, и помрачневший Пепела, отмывавший в ушате руки, мрачно выговорил: «Все! Вот и князь!»

Взбудораженные слухами о крещении князя горожане потекли к Боричеву взвозу и на подол, к реке, по которой длинной чредой плыли ладьи с цветными и расписными парусами.

В толпе ремесленников Всеслав стоял рядом с волхвом; к ним все подходили и подходили люди, поднятая ими густая пыль сплывала с обрывистого берега вниз, к Днепру. Соловей впервые в жизни видел столько народу. Сперва в толпе переговаривались, переругивались или смеялись, но понемногу все стихали.

---

23 тула — колчан для стрел

Ладьи на реке роем окружили пристань, и оттуда, выстраиваясь в след, потянулись наверх, к воротам детинца[24], княжьи люди.

Тогда Всеслав впервые увидел князя. Владимир был одет в красный сафьяновый кафтан, отороченный собольим мехом. Он равнодушно слушал горячо говорившего ему что-то боярина с узким лицом. Спокойными глазами князь оглядывал толпу и будто не видел ее.

В нескольких шагах позади Владимира ехала царица Анна. Но сперва весь народ с восторгом смотрел на коня под ней. Белый, словно голубь, жеребец легко и красиво ступал по земле; он часто встряхивал головой, и тогда, как волшебное дыхание, разносился звон вплетенных в его гриву золотых колокольчиков.

«Ветер, Ветер!» — заговорили вокруг. Об этой красивой лошади в Киеве уже слышали.

Всадница приблизилась, и Всеслав глянул на нее. Царица была маленького роста; поблескивающие черные волосы широкой волной лежали на плечах и спине гречанки, ни разу не взглянувшей на встречавших ее киевлян.

За нею и по сторонам, по обочинам дороги, шагали дружинники и зло отталкивали обратно в толпу тех, кто слишком выдвигался вперед. Вои опирались на черные или белые копья и устало несли в руках щиты из двойной воловьей кожи.

Вдруг все разом стихло и народ замер. Окруженные дружинниками, позади князя и царицы шли никогда прежде не виданные в Киеве люди в черных до пять одеждах и с длинными нерусскими бородами. Греки шагали гордо, с важными лицами.

Впереди них медленно брел глубокий старик, тыкая в землю длинным посохом. Другие попы держали в руках небольшие изукрашенные доски, блестевшие золотом.

— Видишь, толкнул Всеслава Пепела, — вон Макошь их!

Вглядевшись в ближнюю доску, Соловей разглядел на ней нарисованную, очень похожую на царицу Анну женщину с сидящим у нее на руках младенцем. Увиденное поразило его, но страха перед чужими кумирами не было.

Надменные византийцы медленно прошли мимо, и на дороге долго никто не появлялся. Потом внизу раздались яростные выкрики, удары и ржание лошадей. Шум приближался, и скоро Всеслав увидел приседавших к земле измученных коней. Ближняя к Соловью лошадь, изогнув шею и сверкая налившимися кровью глазами, раздирала подковами дорогу, натужно продвигаясь пядь за пядью вперед. Позади измученных коней по земле полз сколоченный из жердей помост, а на нем странно неподвижно вздымалась четверка удивительных лошадей. Всеслав не сразу разглядел, что они не настоящие, а медные. Красивые, как Ветер, они гордо поднимали головы с пустыми глазами, а застывшие медные гривы развевались от несуществующего ветра. Вся неживая четверка напряглась, присела на задние ноги, и казалось, еще мгновение — и она сорвется с березового помоста и помчится по дороге. Но мертвая медная тяжесть лишь прижимала жерди к земле и тянула вниз живых, исхлестанных плетьми дружинных коней.

Когда живые лошади утащили медных в город и желтая пыль осела в

24 детинец — укрепление, оплот, внутренний двор крепости, в отличие от острога, внешнего укрепления; в детинце при опасности укрывались несовершеннолетние дети

сумерках на дорогу, толпа стала молча расходиться. Изредка кто-нибудь начинал говорить, но тут же умолкал — сейчас каждому было ясно, что прежней жизни пришел конец.

Весь обратный путь к землянке Всеслав и Пепела шли молча. Только что увиденное на взвозе все сильнее наполняло тревогой душу Соловья. Ему было страшно, что сегодня-завтра придут к нему вооруженные люди и жестокими угрозами потребуют отречься от богов и впредь поклоняться разрисованной доске, установленного внутри христианского храма. А ирье?! Туда каждую осень улетают птицы и каждой весной приносят людям тепло и оживление всему. Ведь там душа его отца, всех людей, от которых потом появился он, Всеслав; они жили, пахали свои рольи, развешивали в лесах перевесы, ловили зверей, рыбу, умирали — и навьями переселялись в ирье, на небо. Что станет с ними, если он отречется от кумиров?! Куда впредь полетят души, куда отбудет он сам?!

Спасенье от всего надвигающегося было одно — нужно было немедленно бежать из города. Решиться на это тяжело — ведь он совсем недавно пришел сюда, и уходить оставалось лишь обратно, в свои вятичские земли, туда, где снова ждала его жизнь безродного изгоя.

Измученные тяжелыми раздумьями, Всеслав, сходя вслед за Пепелой в землянку, услышал громкие взволнованные голоса, однако когда вступил в жилище, разговор смолк.

Волхв, взяв что-то из своей сумы, тут же ушел; Соловей устало растянулся на лежанке, закрыл глаза и попытался не думать ни о чем, но помимо воли утверждалась в его голове мысль, что немедля, уже утром следует отсюда уходить, спасаться.

— Слышь, вятич, — вдруг обратились к нему, — волхвов царьградских с их богами видел?

— Видел, — тихо ответил Всеслав.

— И что решил? Пропой нам снова соловьем!

Всеслав долго молчал, колебался — говорить или промолчать. Потом все-таки произнес:

— Я уйду отсюда!

— Хе, все не уйдут, как жили тут, так и будут жить. Ольга-княгиня старухой была, когда окрестилась, — и ничего. Ведь князья и бояре богов переменили, а уж себе-то они худа не сделают! Так и мы проживем!

— Нашел ловкий выверт! — рассердился Лушата. — Да они, если захотят, тебя головней завтра покатят, блоха рубашная! Ум-то, видно, совсем коростой зарос!

Спорщики смолкли, сделалось тихо, потом кто-то прошел к светцу, загасил лучину, но во тьме долго еще шевелились и вздыхали. Однако разговаривать никто больше не стал.

Всеслав почти спал, когда возвратился Пепела. Старик в потемках прошел к своему месту, лег и затих. Ремесленники насторожились, ожидая от волхва новостей. Долго молчал Пепела, а когда заговорил, Соловью показалось, что от гнева и муки у старика дрожит голос.

Волхв рассказал, что князья и дружина действительно крестились, что имя свое Владимир поменял, и так будет в Киеве с каждым. Черные люди, взошедшие в город по взвозу, византийский митрополит Михаил и его приближенные. Этот Михаил, доказывая дружине Владимира истинность новой веры, положил свою святую книгу на костер, но она не загорелась.

Крещены уже все двенадцать сыновей князя, и велено завтра[25] приступать к горожанам. В том Владимир-Василий дал царьградским императорам клятву.

Всеслав слушал слова волхва спокойно — к его приходу он уже твердо решил, что вернется в спаленную свою Липовую Гриву, построит избу и станет там доживать оставшийся ему век. Будет ходить на Ярилину плешь, кланяться родному кумиру, а после смерти уйдет его душа в родное ирье к пращурам.

Утром молча поели, пошли работать. Лушата, как обычно, принес воду, и Всеслав принялся месить глину.

Солнце поднималось все выше и выше, когда ремесленники насторожились: привычный перестук в кузнецах сбился, нарушился и скоро стих. Соловей вышел из корыта, обтер ноги холстиной и стал надевать лапти; за это время Лушата успел выбежать на улицу, мигом воротился и хриплым голосом проговорил:

— Кумиров разбивают!

Когда примчались к капищу, там уже толпился народ. Гул разносился над сжимавшейся вокруг кумиров толпой горожан, а из улиц все прибывали и прибывали новые тысячи людей.

На капище, перед богами, стояли угрюмые, понурые дружинники, вооруженные боевыми топорами. Они сердито посматривали на высокого боярина и на попина, через толмача что-то ему объяснявшего.

Перед золотоусым Перуном горел вечным огонь, дым костра медленно поднимался над капищем, но сразу отплывал в сторону и опускался на толпу.

Все чего-то напряженно ждали. Однако когда боярин вдруг взвизгнул «Бей!», люди от неожиданности вздрогнули.

Дружинники нехотя зашевелились, затоптались, поглядывая друг на друга, но не сдвинулись с мест. Подождав немного, попин тяжелым взглядом уставился на боярина, круто повернулся и решительно подошел к священному костру, выхватил из него полыхающее полено и понес к вырезанному из елового пня Переплуту. Положив у подножья божества огонь, он набросал на него дров, взял от Макоши несколько размякших на солнце сот, кинул в пламя.

Стояла такая тишина, что все услышали потрескивание разгорающегося костра. Густой белый дым клубами потянулся над капищем. Попин возвратился к боярину, снова толкнул толмача и, выдернув из ножен ледяно сверкнувший меч, подошел к ближнему дружиннику. Ткнув стальным острием в его тигиляй[26], опять выкрикнул: «Бей!»

Воин медленно подошел к Дажьбогу и замер. Оглянувшись на не опускавшего меч боярина, он коротко размахнулся и ударил топором каменного кумира. Сталь звякнула, оставив на боге белую выщербинку-шрам.

Подошел еще один дружинник и тоже осторожно рубанул по Дажьбогу.

Тогда попин громко закричал толмачу, указывая на княжеский

25 т.е., по преданию, 1 августа 988 года

26 стеганая куртка

дворец. Переводчик поспешно ушел, а византиец забрал у одного и воев топор и, приблизившись к кумиру, ударил по каменному лицу бога. Брызнули по сторонам крошки, лицо кумира исказилось, будто от страдания, а попин все рубил и рубил его, выбивая глаза, нос, рот. Засуетился и боярин, начал зло погонять дружинников.

Стук и лязг наполнили капище; безмолвие в толпе стало разрываться, загудели голоса, кто-то рядом с Всеславом всхлипнул.

И тогда из рядов горожан вперед вышел Пепела. На миг приостановившись, он решительно двинулся к попину. Дружинники один за другим повернулись к внезапно появившемуся маленькому старику.

Подойдя к растерявшемуся иноземцу, волхв вырвал у него топор, отбросил его, затем стал ногами разбрасывать горящие вокруг Пепеплута поленья. Дымящиеся головни откатывались к толпе, и она отстранялась, расширяя круг. А Пепела стянул с себя рубаху и начал ею гасить ползающие по деревянному кумиру язычки пламени.

Старик казался теперь еще меньше, его щуплое, костлявое тело на спине было когда-то располосовано шрамам, и раскрасневшаяся полоса изгибалась на бескровной коже волхва.

Попин скоро опомнился, подбежал к нему, сильно толкнул. Пепела ударился грудью о горящего Переплута, отпрянул и повернулся к иноверцу; рубаха в руке его дымилась, и он выронил ее на землю.

Всеслав увидел страшный взгляд разноцветных глаз волхва. Обмер и пораженный грек. Он развел в стороны руки, потряс ими, потом начал быстро креститься. А Пепела неумолимо и грозно приближался к врагу.

Раздался приближающийся топот копыт, и, прошибая в толпе проход, в кумирню ворвались всадники — еще один боярин и подмога дружинникам. Они закружили по кругу, оттесняя подальше от богов киевлян.

Вои еще хлестали плетьми передних горожан, когда боярин подъехал к Перуну, вынул нож, отодрал им золотые усы и серебряные волосы-шапку кумира. Оголенная голова бога с мольбой взирала деревянными глазами на народ. Но люди будто сами одеревенели. Первым очнулся от ужаса Пепела, он медленно развернулся и двинулся на боярина. Соловей понимал, что сейчас волхв идет к своей смерти. Обойдя всадника, Пепела, не замедляя шага, взошел на костер и замер среди пламени. Скатилось несколько поленьев, дым сперва осел, но тут же окружил старика.

Конный боярин рявкнул на ближнего дружинника, тот подлетел к костру, отвернулся от огня и, ухватив Пепелу за шею, вышвырнул из пламени.

Волхв упал, поднялся и вновь пошел к кумиру. Когда он проходил возле боярина, Всеслав увидел, как рука того быстро опустилась к седлу, нашарила там булаву с медными шипами, и потом, почти не замахиваясь, боярин ударил Пепелу. Старика бросило вперед, он рухнул головой в костер, и у него сразу же загорелись волосы.

На миг Всеслава охватила мелкая холодная дрожь, онемели руки и ноги, но он все-таки шагнул вперед. Резанул по сердцу страх, Соловей видел теперь вокруг тысячи глаз, и они будто останавливали его. Однако он, как в беспамятстве, обхватил поперек туловища поверженного волхва и понес к толпе. Люди расступались, пропуская его, но Всеслав все натыкался на стоящих, словно ослеп.

В пустой землянке, куда он принес Пепелу, тяжело гудели мухи. На столе, рядом с тускло горевшей плошкой, лежал кусок хлеба и была

рассыпана пшенная каша.

Всеслав уложил бесчувственного легонького волхва на полати; обожженное лицо старика покрылось пятнами, из носа растекалась и запекалась на щеках черная кровь. Соловей положил на грудь Пепеле ладонь — сердце не билось. Всеслав, однако, зажег лучину, поднес ко рту старика — и пламя не шевельнулось, только в одинаково черных теперь глазах волхва блеснуло его отражение.

Потерянно присел Всеслав рядом с трупом. Он сидел так до тех пор, пока в руке у него не сгорела лучина, затем на ощупь закрыл покойнику глаза, встал и, тяжело передвигая ноги, пошел к выходу.

Свет и тепло окатили его. Соловей остановился, зажмурился; постепенно он приходил в себя и все явственней различал многоголосый шум, доносящийся со стороны капища.

Подходя туда снова, Всеслав увидел возвышавшихся над толпой всадников. Ему показалось, что кони волокут за собой что-то тяжелое, еще невидимое за спинами людей. Но скоро толпа раздвинулась и, пропустив на середину дороги конных дружинников, потекла следом по обеим сторонам улицы.

На длинных ременных веревках княжьи слуги, возглавляемые попином, волокли повергнутого Перуна. Окружившие кумира дружинники хлестали его, кто плетью, кто гулко ударял булавой. Острые шипы разрывали дерево, темные щепки отлетали на дорогу, и их тут же поднимали идущие следом люди.

В толпе горожан громко рыдали; впереди Всеслава все оказывалась молода баба с мальчиком на руках. Взглянув на него, Соловей поразился, увидев слезы и на глазах ребенка.

По Боричеву взвозу кони потянули Перуна быстрее; со вчерашнего дня на дороге остались глубокие борозды, проделанные деревянным помостом, на котором втаскивали в Киев медных жеребцов.

Здесь дорога сужалась, и народ все ближе и ближе подступал к избивавшим Перуна дружинникам; когда люди вплотную подошли к воям, те ожесточенно стали хлестать и горожан, обрушивая удары плетей то на кумира, то на плачущих провожатых.

В нескольких шагах от Днепра попин свернул в сторону, выводя дружинников вбок от пристани. У воды вои остановились, но всадники еще продолжали захлестнутыми на шее Перуна веревками тянуть кумира в реку.

Потом они выехали на берег.

Медленно развернувшись в воде, кумир поплыл вниз по Днепру к порогам. Мокрый деревянный лик Перуна то исчезал в волнах, то вновь заявлялся — бог, будто гневно отвернувшись от предавших его киевлян, упорно глядел на чистое небо и медленно удалялся от города.

Стоны и рыдания взметнулись над толпами, и кумир остановился — он внезапно свернул со стрежня и ткнулся головой в песчаный берег. Все вмиг стихли и, как завороженные, стали приближаться к реке.

Тишина так удивила Всеслава, что он огляделся: повсюду медленно продвигались вперед люди, спускаясь из города сюда, к месту гибели Перуна. А бесшумная волна все дальше и дальше выталкивала его на берег.

Опомнившийся боярин налетел на дружинников, те побрели в воду и стали копьями отталкивать бога к середине реки. Кумир снова завертелся в волнах и поплыл прочь от города. Замершая на берегу толпа стояла до

тех пор, пока отгонявшие Перуна дружинники не скрылись вдалеке, за пенящимися порогами.

— Давай, вятич, ногату, Пепелу и кумиров поминать будем! — зло сказал Лушата, увидев спускавшегося в землянку Всеслава.

На стене в светце горели три лучины, освещавшие белое лицо мертвого волхва, положенного на стол. Рядом с ним стоял Ставр[27], пожилой ремесленник, обычно державшийся в стороне от других работников. Этот Ставр был новгородцем, в молодости побывал в рабстве в Византии, откуда и принес свое имя, научился золочению и, как рассказал однажды Всеславу Пепела, был лучшим в этом ремесле в Киеве. Однако год назад один боярин обвинил его в утайке золота; Ставр целовал землю, но все же был избит до полусмерти и, отлежавшись, пришел в землянку к гончарам.

Он свирепел, когда его называли Ставром, и все понемногу привыкли звать его Таймень.

Получив ногату, Лушата взял корчагу и ушел, а изнемогший за день Всеслав, которому очень хотелось прилечь, пересилил себя, подошел к столу, остановился возле новгородца, глядя на переливающиеся по мертвому лицу Пепелы огненные блики.

— Вот так, Соловей, — проговорил Таймень, — люди правду говорят, что от кончины не посторонишься!

— А он и не сторонился, сам к ней пошел!

— Видел! Видел и как ты его с костра снял… Ахнул тогда, думал, боярин и тебя пришибет!

Всеслав промолчал. Былой страх больше не возвращался, и теперь лишь одно было у него в голове — желание скорее отдохнуть и навечно уйти из обреченного города.

— Чего мыслишь-то? — снова обратился к нему новгородец.

— Ничего. Уйду завтра отсюда — вот и вся мысль.

— На свою землю вернешься?

— Да.

— Едва пришел, уже уходишь?!

— Не отрекаться же тут от богов!

— Спрятаться хочешь?

— Уйду — и все!

Опять стало тихо. Ставр поменял в светце лучины, вернулся к столу.

— Видишь, твой домовой так и не приходил сюда, — показал он на полное меду блюдце, стоящее в подпечье.

— Он Пепелу боялся! — уверенно сказал Всеслав.

— Может, и так, — согласился Таймень. Потом добавил: — Пойдем-ка домовину ему делать, пока никто не мешает.

Он принес из угла землянки небольшую секиру, молоток, горсть гвоздей. Здесь, в Киеве, Соловей уже видел, что покойников не сжигают, как в вятичской и родимичской землях, а зарывают в землю.

Ставр секирой измерил Пепелу, пробормотал: «Маленький какой!» — и зашагал к выходу. Всеслав двинулся следом.

Работали они долго. Уже стемнело, когда вернулись из корчмы шумные ремесленники. Ввалившись в ворота, они смолкли и неловко

---

27 ставрос — по-гречески значит крест

закопошились, помогая Всеславу и Тайменю доделывать гроб. Когда вколотили последний гвоздь, все молча уселись на землю и долго не шевелились, будто вслушивались в городской шум.

На улице глухо стучали копыта лошадей, доносился говор людей, бродивших между избами. Быстро стемнело, и небо усыпало такое множество ярких летних звезд, что стали видны тени от сидящих вокруг пустого гроба ремесленников. Из-за Днепра поднялась желтая луна, и отовсюду затрещали кузнечики. Напугав всех, низко пролетели летучие мыши, и тогда люди стали подниматься, но в землянку не пошли — остановил Лушата.

— Попы христианские уже по дворам ходят, — заговорил он. — О новой вере толкуют. Хотят добром сманить, но и грозят карами… А тот злодей, что кумиров сегодня крушил, при князе состоит, из всех пришедших христиан самый ярый. Зовут Анастас, он Владимиру помог Корсунь захватить. Народ говорит — прятаться надо!

— Правильно, — хмыкнул Ставр-Таймень. — Вятич вон совсем из города сбежать решил… А ко мне подступят, скажу, что уже крестился. Во! И жить буду по-старому!

— Но Перуна ведь утопили, Макошь иссекли! Как же будешь жить по-прежнему? — спросил Всеслав.

— Ну и что? Вырежу себе из дерева своих кумиров, ставровских! Без капища обойдусь… Вон ведь они — солнце как всходило, так и будет всходить, земля никуда не денется, вода вся не утечет! Какие попы византийские их переменят?

Слова Тайменя потом долго не давали Соловью спать. Может быть, прав мудрый, битый новгородец, и стоит лишь сказать нагрянувшим попам и дружинникам, что согласен он с их верой, а жить по старине?! Только тайно; говорить одно, но думать иное, днем ходить к чужим богам, а по ночам доставать из тайных мест своих кумиров и поклоняться им? Все будет удобно; один Пепела тогда окажется человеком, нелепо погибшим из-за своих богов. Но разве старый волхв ошибся и умер без толку, зазря?! Нет ведь! Все тверже понимал это Соловей. Старик не выбирал свой путь, он не мог решить

— пойду так или эдак! Для него оставалась лишь смерть. Однако вот он, Всеслав, так поступить не сможет, убоится гибели, но и предавать кумиров и ирье тоже не посмеет. Значит, он решил верно — надо бежать!

Ранним утром Соловей очнулся оттого, что его осторожно расталкивал Таймень. Открыв глаза, Всеслав увидел сперва горящую лучину, потом строгое, изменившееся лицо новгородца.

— Вставай, пора уже!

Он медленно оделся, обулся. В землянке все еще спали — кто-то громко храпел, другой жалобно постанывал.

Ставр стоял возле домовины, в которой лежал Пепела, и ждал, угрюмо глядя перед собой. Серое утро висело над Киевом, и в рассветном безмолвии изредка свистели ранние птицы.

…Удивительно, что и сегодня, много лет спустя, волхв Соловей ясно помнил чувство горького одиночества, охватившее его в то утро. Глядя на серое, повернутое к пасмурному небу лицо старика Пепелы, Всеслав, как никогда, ясно сознавал, что напрасно пришел в великий город, жестоко ошибся, думая, что, смешавшись с толпой бесчисленных русских изгоев, будет тут жить увереннее, чем прежде, на своей отчей земле…

Таймень поднял на Соловья глаза, молча вскинул на плечо окованные железом деревянные лопаты и пошел к воротам. Когда выбрались на улицу, Всеслав удивился глубокой тишине. Ни в одной кузнице не стучали молотки, ни в одной избе не топилась печь, и во дворах не копошились возле птицы и скотины бабы.

Пройдя несколько непривычно пустынных улиц, Ставр и Соловей увидели у изгороди, возле одной из изб, столпившихся вокруг кого-то людей. Среди них стоял незнакомый ремесленникам попин, который, выкрикнув несколько слов по-гречески, смолкал и ждал, пока пожилой толмач переложит его речь.

— Чада божия, послушайте учения истинного, — равнодушно бубнил толмач. — Вы во тьме суеверия утоплены, веруете в волхвов, будто те через дьявола могут все творить; окаменело в вас сердце ваше; только молитвами, верой в единого бога Христа сохраните себя от сетей неприязненных. Один бог на небе, так было и будет, пока солнце сияет и весь мир стоит… Нечестивые же дела далеки от разума. Идолы, которым вы поклоняетесь, не боги, но дерево, сделанное руками человеческими; ныне вы их почитаете, а они уже сгинули и иссечены и сожжены. Бог есть один, ему служат христиане и поклоняются, ибо он сотворил небо и землю, солнце, луну, и звезды, и человека, и дал ему жить на земле; ему вы и должны верить. А ваши боги ничего в мире не сотворили, но сами сделаны руками человеческими и потому просто бесы. Мы же в того веруем, кого же пророки предвозвестили, что богу родиться от девы, а другие, что ему быть распятым и погребенным, но в третий день воскреснет и на небеса взойдет. Люди тех пророков побивали, других мучили, и, когда сбылось пророчение пророков, сошел бог на землю и, распятие приняв, воскрес и на небеса вознесся. И он судит всех приходящих к нему, и праведные веселятся, а грешные приимут мучительство!

Остановившись и снова выслушав попина, толмач выкрикнул:

— Кто хочет стоять с праведными, тот пусть крестится! Нет на земле лучшего исповедания, и Христос лучше всех других богов! Если бы этот закон был порочен, то не приняла бы его бабка вашего князя, мудрейшая из всех человеков Ольга. Потому надлежит вам сегодня креститься в реке и сказать: «Верую во единого бога отца вседержителя, творца небу и земли!»

Попин в это время пытливо всматривался в лица стоящих вокруг киевлян. Люди выдерживали его взгляд, хмурились; вчерашняя казнь кумиров ожесточила всех. Русичи с ненавистью слушали прорицателя новой веры, слуги которой начали свои деяния в Киеве с избиения богов и волхва.

Дослушав выкрики толмача, горожане решительно разошлись; уже отойдя на конец улицы, Всеслав обернулся и увидел одиноко стоящего у изгороди черного византийца.

На их пути встретились еще несколько поучающих народ попов; киевляне то обступали их, то разбредались по избам и возбужденно спорили. Стало известно, что по городу вместе с иноверцами ходит сам князь Владимир-Василий и главный попин — митрополит Михаил. Узнали также, что один из горожан по-старому назвал князя Владимиром и был жестоко избит дружинниками.

Насторожившиеся Ставр и Соловей стали впредь обходить толпы и окольным путем добрались наконец до кладбища. В безлюдной тишине на

зеленой долине поднимались рядами небольшие холмики серой высохшей земли, на них грозно сидели черные вороны.

Пока рыли могилу, Таймень молчал; Всеслав же, отковыривая плотные комья земли с торчащими из нее красноватыми червями, стал представлять, как возвернется к своим давно покинутым пепелищам и там придет к нему покой тихий и безопасный, словно вода в Клязьме. При мысли об этом в душе Соловья расходилось, плавилось напряжение и будущая жизнь виделась ласковой и счастливой. Теперь оставалось лишь до нее добрести по долгим лесным тропам Руси.

Врылись в землю по плечи, когда вдали появились несущие на руках гроб ремесленники. Возле ямы они опустили Пепелу, устало сели вокруг могилы.

— Попин по дороге пристал! — заговорил, обращаясь к Всеславу, Лушата.

— Вцепился в гроб и пошел кричать! Из трех слов два темны, одна злоба видна!

— Чего тебе темно?! — рассердился Отроча. — Ругал нас, что не по закону человека несем!

— Потому и изверг! Сами убили, и сами же муками загробными стращать стали!

— Пепеле теперь ничего не страшно; душа его в ирье, раньше всех нас туда успел улететь. — Ставр смолк, но тут же заговорил снова: — Нам вот хуже будет — слыхали, князь с дружиной по городу ходит, и уж не как попы, без уговоров, приставляет нож к горлу и переводит из веры в веру!

— Ничего, по твоему слову отовраться можно…

Начали хоронить волхва. Положили к нему в гроб нож, кресало, кружку, вставили в затвердевшие губы рубль[28]. Затем осторожно, будто боясь пробудить, накрыли старика крышкой, опустили в могилу. Земля застучала по домовине, постепенно удары сделались глуше, и скоро над травой поднялся такой же, как и повсюду здесь, холм. Лушата полил его из корчаги хмельным медом, положил несколько яиц и блинов.

Гончары молча глядели на Лушату. Покончив с могилой, тот налил меду в кружку, протянул старшему ремесленнику. Выплеснув немного напитка на надгробный холм, гончар оглядел всех, поднял над головой кружку, четко, привычно заговорил:

— Уж ты солнце, солнце ясное! Ты всходи с полуночи, ты освети светом радостным все могилушки; чтобы нашим покойничкам не крушить во тьме своего сердца ретивого, не скорбеть во тьме по свету белому, не проливать во тьме горючих слез.

Пили молча, и Всеславу казалось, что страх уже пригнул всех к земле, ибо ясно им было, что хождения иноверцев закончились и скоро во дворы явятся дружинники и погонят народ на крещение. Разве могло тут оставаться так, чтобы князь, бояре, дружина, все огнищане[29] перешли в новую веру, а народ молился прежним кумирам.

Всеобщее предчувствие сбылось в тот же вечер; едва возвратились

---

28 рубль, т.е. небольшой кусок металла, в некоторых случаях вкладывали в рот покойнику; если рубль влагали в уста живому, то этим давали понять, что он приговорен к смерти

29 общее название старших княжьих слуг

после погребения и недолгой работы в землянку и стали готовить еду, на лице раздался шум, выкрики. Когда выбежали наружу, увидели въезжавших в ворота дружинников и сопровождавших их горожан.

Остановившись посреди двора, передний воин замахал рукой, и все постепенно утихли. Тогда дружинник прокричал:

— Князь Влади… Василий повелел. Завтра всякому надлежит прийти на Почайну креститься. Если кто из некрещеных завтра на реку не явится, тот за противника княжьему повелению причтется, имения будет лишен, а сам приимет казнь! Готовьтесь к крещению все! Иначе зло вам будет!

Всадники развернулись и уехали; молчаливые горожане потянулись вслед за ними, будто не разобрали до конца княжьего повеления.

Гончары долго угрюмо молчали; случилось то, чего все ожидали, но все-таки слова дружинники ошеломили.

— Чего опустели?! — встрепенулся Ставр-Таймень. Он пошел к воротам, затворил их, вернулся к товарищам и поднял подол сорочки.

— Бросайте-ка какие у кого деньги есть — меду-пива накупим, загуляем в последний раз по-нашему, по некрещеному. А утром чади князя скажем, что окрестились уже и будет свою работу работать.

Нарочитую разухабистость Тайменя не поддержали.

— Такие будто они все дураки, чтобы твои ставровские утайки не раскусить?! Рано ты себя вознес, проговорил Лушата.

— Не хочешь — не гуляй, иди сядь в крапиву и рыдай! — отрезал Таймень.

И потом, когда допоздна пьянствовали в землянке, новгородец все покрикивал:

— Обведем греков вокруг пальца, пупы им развяжем и завяжем, а кумиров не отдадим!

Уверенность повидавшего жизнь Ставра и выпитый мед вроде бы успокоили гончаров. К ночи на предстоящую угрозу стали смотреть без опаски и спать разошлись уж совсем в душевном веселии.

Всеслав пил меньше других; он не верил в хитрости новгородца — ведь действительно, не дураки же византийцы и бояре. Смерть или отречение от кумиров ждали завтра всех, и только бегство могло избавить от беды.

Поэтому Соловей уложил свою котомку, налил под насмешки ремесленников нового меду домовому и затих на лежанке, рядом с опустевшим местом Пепелы.

Пьяные гончары скоро уснули, однако Всеслав все не мог успокоиться и хотя бы задремать, отдохнуть перед завтрашней дорогой. Едва он закрывал глаза, вставали из тьмы то мертвое лицо волхва, то Перун, тяжело ворочавшийся в волнах Днепра. Однако позднее Соловей все же забылся и увидел во сне целую еще, не выжженную свою родную весь и себя, в толпе ребят идущего по белой дороге к Ярилиной плеши. Вокруг него лежал синий снег, и сверкало красное зимнее солнце. В такие дни вместе с другими мальчишками он вырезал из твердого наста людей, коней, разных зверей, осторожно ставил их, подперев поленьями. Потом, забрав в избах ледянки, дружно шли к холму. Оттуда на обитой водой и обледеневшей с одной стороны доске-ледянке можно было соскользнуть почти до самой Клязьмы. Снег забивался в рукава кожуха и щекотливо таял там, стекая на горячие ладони в меховых варежках.

Скатившись вниз, снова взбирался на плешь, и там на них глядел

добрый Род, возле которого горел неугасимый огонь.

Отсюда хорошо видны были черневшие не снегу избы, из волоковых окон которых нехотя выбирался горячий дым и белым облаком плыл к небу.

Совсем вдалеке, посреди накрытой льдом реки проходила санная дорога, по которой со дня на день должны были приехать злобные и крикливые княжьи люди за данью. Они долго бушевали в веси, собирая и складывая на возы меха, мед, зерно, воск, вязанки лучины. Потом обоз уезжал, но еще долго, до нового снегопада, у реки оставалось утоптанное место, и к нему слетались красные снегири, собирая оброненные из даней зерна ржи и проса.

…Старый Всеслав улыбнулся. Вот тут и вон там проходил тот далекий счастливый день. За тем лесочком возвышается вечная Ярилина плешь и стоит и поныне великий Род; другие только люди приносят сейчас к его костру свою рыбу и соты.

Отчизна восстановилась для волхва на родимой земле, но недолгий век оставался тут для Всеслава — он чуял, как неумолимо подходил его последний день и, по обычаю, как велели русские боги, запылал бы и его посмертный костер и уже бессмертную душу унес в ирье. Однако и в отчизне оказались, как некогда в Киеве, византийские попы, будущее помутилось, и почти забытый страх, пережитый в пору крещения, вспыхнул вновь. Но теперь было намного хуже, чем в тогдашнее лето. От обрушившейся в Киеве угрозы он все-таки смог уйти, хотя и получилось все иначе, чем он надумал ночью в землянке…

Той ночью Соловей бесшумно спустился с лежанки, обулся, надел на плечи котомку и в темноте, вытянув вперед руки, двинулся к выходу. Его никто не окликнул, хотя показалось, что многие гончары уже не спят.

Еще не рассвело, но тьма на небе уже помутнела, и далеко за лесом, у самой земли, в черных тучах вспыхивали молнии. В городе же было еще тихо, лишь поспешно пролетавшие над головой напуганные кем-то вороны шумели крыльями.

Всеслав решил уходить из Киева тем же путем, что и пришел, — спуститься к Днепру и двигаться по берегу наверх, к Смоленску, а там, на земле родимичей, повернуть к Клязьме.

Однако несчастье уже стерегло его: пройдя пустынную первую улицу, он повернул к реке и наткнулся на толпу горожан. В суровой и мрачном безмолвии люди брели по дороге, подгоняемые дружинниками.

К растерянно остановившемуся Всеславу подошел княжий воин, беззлобно и равнодушно ткнул тупым концом копья в бок, сказал:

— Иди! Куда собрался, аспид?!

Соловей побрел по краю дороги, кляня себя за то, что не ушел, как собирался, вчера. Иногда он оборачивался и тогда видел, как быстро разрастается толпа киевлян, подгоняемых пешими и конными дружинниками. Следом за Всеславом плелся древний старик, тяжело опиравшийся на истертую ладонями до блеска клюку. Пожелтевшие от дряхлости волосы его были перевязаны красной выцветшей лентой. Позади старика светлыми пятнами покачивались бесчисленные лица — растерянные и обреченные, злые и устало-равнодушные, старые и молодые.

Безропотно прошагали несколько улиц, и вдруг впереди зашумели

голоса; слова не расслышивались, да и они быстро смолкли, только толпа, все уплотняясь, подтягивалась к перекрестку.

Вдоль плетня Всеслав протиснулся вперед. Четыре дружинных коня волокли по дороге четверых мужиков. Их шеи были стиснуты ременными петлями, привязанными к седлам; крайняя лошадь, напуганная внезапно хлынувшими из-за угла людьми, рывком отскочила в сторону, смерд рухнул на дорогу и мучительно захрипел. Руки его были связаны за спиной, и он изгибался, забрасывая вперед ноги, пытаясь быстрее встать и догнать коня, чтобы ослабить удавку. Наконец смерд изловчился и на короткий миг поднялся на ноги, однако петля снова рванула его вперед, мужик ударился о дорогу лицом, но все же успел вцепиться в ремень удавки зубами и вскочить на ноги.

Когда конники и связанные смерды пропали за поворотом, дружинники заспешили, стали нехотя бить сулицами[30] остановившихся людей и погнали их дальше. Теперь рядом с Всеславом оказался громко всхлипывающий мальчик, который все время одергивал спадающую с плеч разорванную синюю рубаху, а на спине его страшной полосой краснел след от удара плетью.

Ближе к Боричеву взвозу княжьих людей становилось все больше; кроме дружинников, на краях дороги стали появляться и бояре, зло разглядывавшие бесконечную толпу. Едва путь стал клониться к реке, оттуда, снизу, донесся гул; вслушавшись, Соловей различил громкий плач, стенания и выкрики тысяч людей. Горестный стон мгновенно взлетал наверх, и теперь все вокруг Всеслава будто подхватили всхлипывания мальчика в разодранной рубахе. У Соловья сжалось горло и разом онемели ноги.

Ожесточившиеся при появлении бояр дружинники накинулись на горожан, глухо застучали о тела гонимых удары копий, засвистели плети, в толпе громче заголосили женщины, запричитали перепуганные дети.

Медленно стали спускаться вниз, и уже через несколько шагов Всеслав увидел, что происходит на речке. В воде, кто по шею, кто подле самого берега, стояли тысячи людей. Многие держали на руках детей, но не звучало над Почайной ни единого стона, ни единого всхлипа, будто загнанный в реку народ окаменел от страдания. Лишь серая вода Почайны равнодушно текла среди неподвижных русичей.

Совсем далеко — за лесами, за краем земли разгорелось солнце. Черные предутренние тучи с беззвучными молниями куда-то исчезли, и теперь лишь над Киевом испуганно проносились маленькие, освещенные с одного бока облака.

Рыдания вокруг Всеслава сделались тише — все спускающиеся к ручью, как и Соловей, не отрывая глаз, глядели туда, где проходило страшное крещение.

По берегу, возле воды, ходили попы и что-то резко выкрикивали. На них были надеты красивые одежды из мутно блестевших золотом тканей. Каждый византиец держал в воздетой к небу руке крест, а позади попина дружинник носил доску-икону с заморскими, греческими богами.

Попин внезапно обрывал свой крик, что-то пояснял толмачу, тот ругал княжьих воев, стоящих с обнаженными мечами вдоль берега, а те, будто упрашивая, поясняли что-то стоящим в ручье киевлянам. Их

30 сулица — метательное копье

угрюмо выслушивали, потом обреченно расходились в воде в стороны, разделяясь на мужские и женские толпы.

Дождавшись, когда новообращенные остановятся и притихнут, попин подходил к нем, показывал крестом и восклицал: «Гюрги»[31] — мужчинам, «Анна» — женщинам. Затем византиец удалялся, садился в стороне на лавку и устало ждал.

Русичи же продолжали стоять в воде. Они удивленно осматривали друг друга, ища неведомой перемены, но все остались прежними, ни в ком ничего не изменилось, и теперь люди недоумевали, но и успокаивались. Страшный путь по городу, побои дружинников, ожесточение и ожидания последних дней — все смылось мутной водой Почайны. Опасность разом пропала, осталось лишь одно — в речку входили Добрыни, Путяты, Святославы, Будимиры, Торопы, Даньславы, Сытыни и Предславы, Забавы, Милуши, Истомы, поднимались же на берег только Гюрги и Анны.

Сумрачные новообращенные христиане теснили друг друга, выходя из реки. А на берег по дороге сходили все новые и новые толпы русичей.

Всеслав уже видел, что немедленной опасности в крещении нет, что мужики и бабы, растерянно выходящие из воды, постепенно отходили от недавнего страха; но чем ближе он оказывался у Почайны, тем тоскливее делалось у него на душе. Конечно, он может недолгий час постоять в серой речной воде под крики иноверцев, но ведь знает же он, что над ним, над этой землей летают сейчас невидимые навьи — его отец, Пепела, Милонег, Кукун. Всего один шаг сделает он, Соловей, и навечно останется без души, не будет отныне его навьи и ничто не поднимется к небу после его посмертного костра. Эти пришлые христиане прочат ему чужое ирье, но ведь там он никогда не встретится с отцом, с матерью, со всеми пращурами, жившими в его родной веси. В христианском же загробном мире от так и останется одиноким изгоем, как и жил тут, не земле.

Крещеные же русичи все никак не понимали, что им надлежит делать дальше. Они виновато поглядывали на вновь прибывших, но с берега не сходили. С их одежд стекала вода и сбегала обратно в ручей.

Отдыхавший попин нахмурился, зашагал к толпе. Но тут на дороге застучали копыта, Всеслав обернулся, увидел князя и главного попина, толстого старика, который, робко притрагиваясь к столпившимся людям, продвигался между ними к Почайне. Князь сидел на коне и невидящими, как и в день приезда, глазами скользил по выжидательно притихшим подданным.

Главный попин подошел к первым новообращенным, произнес несколько слов. К нему подлетел толмач, перегнувшись, стал вслушиваться в размеренную речь. У византийца, хотя он и был стар, голос оказался зычным. Прерываясь, попин каждый раз ласково притрагивался к переводчику, и тот торжественно говорил:

— Боже великий, сотворивший небо и землю, посмотри на новых людей своих и дай им познать совершенно тебя, истинного бога, как познали страны христианские, и утверди в них веру правую и несовратимую. Помоги, господи, на сопротивного врага, да, надеясь на тебя и на твою державу, сокрушаться козни его под знамением силы

31 Гюрги — Юрий, Георгий

креста твоего и прославится имя твое во всей Руси. Но неверующие пусть постыдятся и примут наказание от тебя, творца.

Толмач замолчал. Главный попин перекрестил русичей, пошел к князю, но тут же вернулся.

— Теперь идите в избы свои! — прокричал его слова переводчик.

Люди зашевелились и медленно, натыкаясь на передних, потянулись к подъему. Шли устало, безмолвно, обреченно, будто лишь теперь до конца осознав все происшедшее с ними. Получилось так, что Всеслав оказался на пути новых христиан, и, когда все вокруг стали расступаться, освобождая путь, его вдруг осенило, он круто развернулся и вместе с новообращенными побрел в город.

А навстречу им все сходили и сходили к Почайне русичи. Увидев мокрых людей, они испытующе вглядывались в их лица, ища какие-то перемен, и безостановочно шагали дальше, подгоняемые княжьими людьми.

Встречаясь взглядом с дружинниками, Всеслав каждый раз холодел — все получилось у него легко и просто, и не верилось, что опасность так неожиданно осталась позади. Сейчас Соловей боялся одного — что какой-нибудь воин, заметив его сухую одежду, выхватит его из толпы и снова погонит к Почайне. Тогда он сбросил с плеч корзно[32], свернул его и понес под мышкой, будто намокшую одежду.

Наверху, в городе, Всеслав свернул в первую же безлюдную улицу. Тут он оказался в одиночестве, но страх от этого лишь усилился в — любой миг могли появиться шнырявшие по Киеву дружинники, избить и, как увиденных недавно смердов, ременными удавками потащить креститься.

Надо было побыстрее облиться водой, и Соловей стал озираться, ища колодец. Увидев неподалеку журавель, он поспешил туда, дрожащими руками вытащил ведро и окатился.

И вот тут из двора прямо на него выехало несколько воев.

— Куда? — устало спросил один из них.

— Работать, черепицу, изразцы для княжьего двора делаем, гончар я.

Всеслав запнулся, но сразу же понял, что молчать опасно, и заторопился:

— Крестился я уже; там сейчас князь и главный попин отпустили нас… крещеных…

— Не попин, а митрополит он, Михайлом кличут.

— Он сказал: идите по избам.

— А крест твой где?

Соловей не понял вопроса, но глаз не опустил.

— Хитрецов много уже объявилось, — по-прежнему спокойно продолжал дружинник. — Нам говорят, что окрестились, а сами еще и со дворов своих не выходили. Ты-то вот мокрый весь, а те в сухоньких сорочках стоят и лгут. Потому и повелел митрополит всем новокрещеным на шеи кресты надевать, а у кого нет, гнать снова к Почайне…

— Чего ты разговорился?! — рассердился другой дружинник. — Видишь ведь, что нет на нем креста, поднимай плеть да гони к взвозу!

— Нет, у этого по глазам видно, что крестился. Да и мокрый весь. Видно, из самых первых, еще до пояснения.

---

32 корзно (корзень) — плащ с меховой опушкой

— Нас много таких, — подхватил не своим голосом Всеслав. — Я один этого дорогой, многие туда пошли, — махнул он рукой, мы все без крестов…

— Ладно, шагай уж, но за крестом немедля сходи. Мы вот добрые, другие без слов плеть опустят.

Вои поскакали по дороге, подъезжая то поодиночке, то парами к обезлюдевшим избам. Всеслав же все не мог сдвинуться с места; он долго смотрел вслед дружинникам и трясся все телом.

Дальше он шел крадучись и наконец вышел из Киева; озираясь по сторонам, он побежал к лесу, возле первых деревьев остановился и, тяжело дыша, прислонился к липкому сосновому стволу. Позади него остался совершенно бесшумный, будто опустевший огромный город.

4

Великий Род и добрый Спех[33] уберегли Всеслава в тот день. Он понемногу успокоился, замерев среди деревьев, затем двинулся вперед. Но вдруг он отчетливо расслышал негромкие голоса и, решив, что это засада, устроенная по повелению хитроумных византийцев, метнулся в кусты и притаился там.

Изредка мимо него быстро проходили прибегающие из города русичи. Шагали поспешно, поодиночке и толпами, однако через несколько шагов замедляли ход и в двух-трех перестрелах от края леса рассаживались под деревьями. Всеслав понимал, что это бегущие от крещения русичи, но никак не мог сознать, чего они ждут: прятаться тут было нелепо — напасть не пришла в город на один день, она утверждалась в Киеве накрепко, и пережидать ее чащобах было бессмысленно.

Всеслав выбрался из кустов, быстро зашагал по лесу. Сперва беглые горожане попадались ему часто — мужики и бабы, дети сидели под деревьями или решительно брели куда-то, ведя с собой коров, коз, лошадей.

Свет разгоревшегося дня пробивался сюда сквозь вершины деревьев и пятнами освещал траву и желто-коричневую хрупкую хвою, усыпавшую землю.

Соловей шагал легко и ходко; все опасное быстро отдалялось от него, оставаясь в Киеве. Впереди же, хотя и в конце очень долгого пути, ждали родная земля, покой и свои боги.

Ночью в жизни изгоя Всеслава произошло самое великое событие. Приближалось оно грозно; тихий вечер вдруг оборвался, и быстро наступила тьма. Черные тяжелые тучи скапливались над лесом, воздух остановился — все приготовилось к грозе. Соловей сперва решил сделать шалаш, но побоялся шуметь и только прибавил шагу. Изредка ему казалось, что совсем рядом, за ближними кустами, кто-то шевелится, он останавливался и долго вслушивался в сумрак; однако лес молчал. Лишь порой шелестела наверху листва деревьев, мелькали поспешно укрывающиеся перед непогодой птицы — вокруг устанавливалась предгрозовая неподвижная духота. Внезапно, напугав беглеца, по дереву пронеслась белка, на середине пути она замерла, разглядывая человека,

33 дух, споспешествующий человеческим делам, их успеху

но в этот миг над лесом тяжело пророкотал Перун-гром; все испуганно притихло, однако тут же, разбуженное грозными шагами бога, ожило; громко заговорили деревья, унесся прочь душный теплый воздух, и с неба начал стекать густой влажный поток. Следующий удар грома раздался над головой Всеслава, потом, глухо ворча, он долго пробирался сквозь лес к городу и там стих. Первые капли дождя упали на землю, они оказались очень теплыми, будто нагревались на листьях и ветвях деревьев.

Соловей все еще шагал вперед, но, очутившись перед небольшой поляной, остановился. Небо над лесом быстро передвигалось, и оттого беспрерывные струи то отвесно падали на землю, то изгибались и влетали в лес, туда, где стоял Всеслав.

Молния сверкнула так ярко, что стала видна каждая травинка на поляне; небесный свет Перуна посеребрил капли дождя, и они на миг замерли волшебной пеленой.

Когда опять наступила тьма, обрушился гром. Он разрывал и комкал небо, отшвыривал тучи, они страшно грозили кому-то, ударяясь друг о друга. Соловей метнулся под ближнюю сосну, присел там на еще сухую, горячую землю.

Молнии теперь вспыхивали чаще, они стремительно прорывались сквозь тучи, ударялись о мокрую поляну и взлетали обратно к небу. Синий ледяной свет расплющивался на вымытой траве и исчезал в уплотнившемся мраке. Перун бушевал; Всеславу было ясно, что грозны кумир сокрушительно движется к оскорбившему его городу.

Дождь то усиливался, то стихал, и тогда Соловей слышал, как громко падают в лесу с ветвей тяжелые капли воды. Показалось, что ливень прекратился; Всеслав пошевельнулся, устраиваясь поудобнее под деревом, — и тут полыхнул необыкновенно яркий огонь. Соловей вскрикнул и замер.

В этот миг к изгою спустился Сварожич. Маленькое, с кулак величиной, солнце, ярко светясь, бесшумно проплыло над поляной. Разбрасывая искры, голубоватый шар прошел сквозь ветви, не обжегши их, и остановился пере Всеславом. Соловей напрягся, вслушиваясь в жужжание пламени, но ничего внятного не различал. Сварожич стал медленно подниматься, потом опустился на толстую ветку, протянувшуюся сюда из тьмы, прокатился по ней, взлетел и с затухающим шуршанием возвратился на середину поляны. Он наткнулся на черный мокрый кус, снова остановился и там с громким треском раскололся и исчез. Грохот умчался во все стороны, а на поляне остался гореть красным удивительным пламенем куст. Лоскутки огня рвались вверх, будто хотели отделиться от веток и взлететь к черному небу. Что-то, однако, не отпускало огонь, он торопливо стал уничтожать куст, чтобы избавиться от него. Пламя растекалось по дереву, ветви зашевелились, корежась и исчезая в огне.

Куст еще полыхал, когда опять хлынул дождь. Удивленный его внезапностью, Всеслав глянул вверх. Черно-серые тучи остановились над ним и стали опускаться. Несколько холодных капель упало на лицо изгоя, он вытер глаза ладонью, снова повернулся к поляне. Но там все подходило к концу; мрак сделался гуще, небольшие обрывки пламени лишь изредка выскакивали из тьмы в том месте, где недавно полыхал куст.

Соловей упорно смотрел туда, но Сварожич больше не появлялся. Сперва едва ощутимо, затем, все усиливаясь, вокруг заметался мокрый

ветер. Тоскливо скрипнуло дерево, затем другое, тревожно зашелестела тяжелая листва.

Вятичский изгой, как никогда прежде, ощущал сейчас в себе душу. Радостное и грустное тепло упруго-ласково волновалось в груди, и делалось до слез ясно, что отсюда начинается новое существование, а все предбывшее оторвалось уже от него и уходит в сырую тьму чащи. Соловей чувствовал, что он понимает нечто очень важное, что Сварожич слетел к нему, чтобы сообщить главную Весть о жизни. Всеслав пока не знал смысла этой Вести, но был уверен, что отныне и до смертного костра он ясно и радостно будет ощущать в себе ее и горе никогда не придет к нему, ибо горе — это когда нет души, а сейчас она горячо трепетала в нем.

Дождевые капли стекали по лицу Всеслава; он не отирал их и все глядел и глядел на поляну. Лес рядом с ним наполнял таинственный гул, то стихавший до шепота, то грозно нараставший. Вдруг в один миг все преобразилось — тучи на небе разорвались, расступились, и на землю серебряным светом выплеснулась луна.

Всю ночь Всеслав неподвижно просидел на краю поляны, не засыпая, но и не бодрствуя: он то закрывал глаза — и перед ним тогда плыл сверкающий Сварожич, то пробуждался от шума в лесу, озирался, но видел лишь неподвижную тишину.

Потом начало светать; черный воздух медленно раздвигался, и на его месте оказывался серый полумрак. Соловей кутался в корзно, но сырая прохлада все плотнее прижималась к нему. Постепенно в тишине стали раздаваться хлопанье крыльев, возня птиц, сбивавших с веток и листьев задержавшиеся там капли. Всеслав выбрался из-под дерева наружу и, замер от волнения, приблизился к сгоревшему посреди поляны кусту. Тут, как и повсюду, зеленела отяжелевшая от сырости трава; лишь вглядевшись, Соловей увидел несколько черных угольков, прилипших к земле. Он собрал их и спрятал на груди, завернув в холстинку.

Пять седьмиц-недель провел Всеслав в пути, немногие его деньги скоро кончились, и корм себе он добывал охотой. В один из дней стало казаться, что места, по которым он идет, знакомы ему. Где-то тут некогда лежала его весь, он был уже уверен в этом, однако, сколько он ни бродил по лесу, никаких следов пожара разыскать не смог.

В долгой дороге он представлял почему-то, что по возвращении увидит именно то, что оставил тут сорок лет назад, — черную, расколовшуюся от жара печь со сгоревшим в блюдце молоком и ворота, не доставшиеся огню.

Он несколько дней метался по родным местам, но ничего из прошлого здесь не находил, хотя все и казалось знакомым. Сперва Всеслав растерялся, стало обидно, что новая жизнь начинается не так, как ожидалось: потом, на четвертый или пятый день, его будто осенило. Соловей кинулся к берегу Клязьмы и, к вечеру добравшись туда, повернулся к Ярилиной плеши.

Над вершиной священного холма медленно поднимался дым. Потрясенный Соловей долго глядел на него, затем начал нетерпеливо озираться. Но ни людей, ни изб не виднелось. Тогда Всеслав поспешно зашагал к кумиру.

Великий Род не изменился. Как и прежде, он смотрел поверх головы давно выросшего Всеслава на покрывавшие землю леса, и Соловей

заплакал, стоя перед своим богом, потом понемногу успокоился, достал из котомки рыбу, добавил в костер несколько поленьев и положил на них приношение. Огонь быстро разгорелся, тепло упруго поплыло на Всеслава, и он блаженно зажмурился. Все здесь, на его земле, осталось прежним, он, изгой, прошел через тяжкое испытание, сумел возвратиться в отчизну и отныне будет жить тут до того дня, когда дым унесет его душу в ирье.

Неслышно наступили сумерки, и Соловей забеспокоился. Он долго рассматривало отсюда, с вершины холма, бесконечный лес, сомкнувшийся там, где была его весь, и, приметив одну изогнутую березу, зашагал к ней. Теперь он искал увереннее и скоро обнаружил небольшой зеленый бугорок с торчащей из него молодой березой. Выломав палку, Всеслав ткнул ею в кочку и скоро докопался до заросших травой и затянутых землей черных, совершенно раскроившихся углей.

Еще в пути он решил, что свою избу поставит точно на том месте, где прожил с отцом и матерью младенчество. Правда, он все почему-то надеялся, что за годы его скитаний весь возродилась, хотя точно знал, что из всех смердов тогда выжили лишь он да Милонег.

Отыскав укрытое землей пепелище, Всеслав стал медленно бродить по окрестному лесу и теперь обнаруживал в нем то кусты разросшейся малины и смородины, то корявую бесплодную уже яблоню, пригнутую к земле соседними деревьями.

Людского же жилья нигде не было, хотя он совсем недавно видел костер, сложенный и зажженный перед кумиром. Тогда он опять вернулся к реке, долго шагал по берегу и, вдруг, так, что дрогнуло сердце, увидел впереди, в вечерней дымке, неведомую ему прежде весь. Сердце Всеслава колотилось все сильнее, когда он подходил к первой избе. Там было тихо, но скоро раздались голоса, сперва детские, потом женский, из ворот вышел рослый мужик с луком в руках и строго глянул на пришельца.

Дойдя до середины веси, Соловей остановился. Скоро его окружили мужики, бабы, ребятишки. Он переводил взгляд с одного смерда на другого, однако знакомых среди обступивших его людей не было.

Новая весь построилась тут дано; напуганные кровавым набегом перебрались сюда издалека, из-за Клязьмы, тамошние смерды. Сперва попытались восстановить сожженные избы, но скоро обнаружили, что в том месте нет ни одной кукушки, испугались приметы[34] и начали строиться в отдалении.

Веси дали прежнее название — Липовая Грива, постепенно стали родниться со смердами из Чижей и уже много лет жили спокойно. Никто здесь никогда не слыхал о вернувшихся на родину из вражеского полона людях.

Всеслава приютили в одной избе. Много вечеров подряд в ней собирался народ и слушал рассказы о Киеве, новой вере, привезенной князем из чужих земель, жестоком крещении киевлян.

Соловей обычно сидел у стены, рядом с вбитым в нее светцом с потрескивающими лучинами, а вокруг, на печи, на полатях, размещались мужики и бабы и напряженно внимали удивительным словам пришельца. Страхи, пережитые им в Киеве, бегство из города и братание в лесу со Сварожичем потрясли смердов.

---

34 отсутствие кукушек предвещало несчастья для обитателей такой местности

Однажды Всеслав упомянул, что его в Киеве прозывали Соловьем, и это имя и тут пристало к нему.

Подступала осень, и мужики взялись строить Соловью избу. Ему, как хозяину, позволили установить краеугольные камни и положить на них нижний венец клети, а остальное дружно подняли за несколько дней. Жилье возвели рядом с бывшим отчим домом, и Всеслав стал одиноко жить в лесу. Он хорошо знал травы, готовил зелья, снял недуг у нескольких баб и мужиков, так что уважение к нему выросло еще больше.

Как человека, побратавшегося со Сварожичем, его часто просили умолить Рода о всяких нуждах, и Всеслав почти ежедневно ходил на Ярилину плешь, поддерживал там огонь и складывал на костер дары смердов. Сам себя он волхвом не считал, однако ясно сознавал, что после той грозовой ночи ближе всех знакомых ему русичей поднялся к кумирам. Но понимал Соловей также, что близость его к богам совсем иная, чем была у Пепелы, других встреченных им в жизни волхвов.

Так прошли годы; и вдруг в Чижах объявился попин, начал скверными словами хулить кумиров, проповедовал о Христе. Его несколько дней молчаливо терпели, промолчали смерды и тогда, когда он швырнул несколько камней в Рода, но уже на следующее утро княжьи люди не смогли разыскать прыткого византийца. С небывалой быстротой в Чижи прискакали княжий вирник с отроками и новый попин — Кулик, хорошо говоривший по-русски. Он не ругался, не оскорблял русских кумиров, но его боялись сильнее исчезнувшего попина. Весь с каждым днем ожесточалась, наверняка не выжил бы и Кулик, но вирник с отроками следили за смердами зорко.

Туда-то, в Чижи, и ходил сегодня волхв-изгой Соловей. Недавний покой, который он наконец сыскал в отчизне, разом оборвался; отныне и тут, в глуши вятичских земель, наступили страшные времена. Конечно, и прежде слышал он от прохожих людей, что после крещения Киева новую веру огнем и слой вбивали в разных городах и весях Руси, и вот прошло пятнадцать лет, и христианские попы вторглись сюда. Ночью Всеслава охватывало отчаяние, днем же он бродил по веси или возле нее, приглядывался и прислушивался к приближающейся беде, не зная, как теперь избежать напасти.

…Всеслав раскрыл глаза; будто долгие видения тяжелого сна только что прошли перед ним. Он недвижимо сидел, остывая от пережитой вновь своей жизни, а перед ним сверкала под летним солнцем вода в Клязьме, вокруг было тихо и спокойно, перелетали через реку птицы, осторожно потрескивали в лесу ветки, и шлепали по воде рыбы. Все пока оставалось прежним.

Петлявшая до сих пор среди деревьев тропинка в этом месте распрямилась, и дальше пролегла по лесу ровной узкой полосой. Над ней мутными облачками висела мошкара да гудели строгие пчелы.

Всеслав насторожился — ему показалось, что впереди, сбоку от дорожки, что-то шевельнулось, укрываясь в лесной чаще. Подняв лук с вложенной стрелой, Соловей напряженно ожидал опасность, но там долго ничего не менялось. Всеслав уже решил двинуться дальше, когда вдалеке появился человек, тянувший за собой санки. Соловей узнал Опенка,

смерда из Липовой Гривы.

В той веси Всеслав не был много дней. Перебирая у себя в сенях высушенный болиголов, он не вытер опыленные этой травой губы, выпил квасу и вечером сильно заболел. На него напали мучительные судороги, он несколько раз падал с полатей, в голове полыхал жар, и показалось, что подошла нежданная смерть. Страха перед ней не появилось, было лишь обидно, что приходится погибать нелепо, по глупости. Однако дни и ночи шли, по телу разлилась истома, потом и она начала отступать, и Соловей понемногу ожил.

Опенка Всеслав не любил — тот был человеком злым, угрюмым и коварным. В Липовой Гриве Соловью рассказали, что Опенок однажды зимой обманом изловив в холодном лесу беглого холопа и за переем получил от хозяина гривну денег. В избах тогда его долго ругали и прилепили новую кличку — Переемщик, так что теперь одна только жена помнила его истинное имя.

Увидев на тропинке волхва, Опенок приостановился, но тут же снова побрел навстречу. Приближаясь к нему, Соловей разглядел, что Переемщик идет более мрачный и ожесточенный, чем обычно. На шее Опенка висел его науз — кабаний клык.

Еще издали, увидев санки, Всеслав понял, что произошло, и теперь, когда они поравнялись, с тоской глядел на обряженный труп маленькой дочери Переемщика. Он хорошо помнил ее живой, особенно твердо остался перед глазами вечер, когда он шагал по веси от Ярилиной плеши, а девочка одиноко стояла перед черными воротами и смотрела на него.

Теперь лицо ее сделалось незнакомым: глаза запали, челюсть была подвязана белым чистым полотенцем. На задке санок, возле тоненьких ног покойницы стояла наспех сделанная из глину урна-избушка.

Санки прошуршали по тропинке, Опенок прошагал мимо Всеслава. Тот долго глядел ему вслед, потом выкрикнул:

— Погоди, помогу тебе! — и быстро нагнал Переемщика, пошел рядом, взявшись за веревку, привязанную к санкам. Когда свернули с тропинки к кладбищу-кургану, Соловей тихо спросил:

— Один почему? Люди, жена где?

Опенок остановился, будто споткнулся, зло проговорил:

— Нету их! Мор уносит! Ты вот куда пропал, весь помирает, а тебя нету! Раз волхв и травы знаешь, спасай людей! А то пришла беда, а Соловей упорхнул!

— Я сам чуть не умер! — прошептал Всеслав.

Переемщик оглядел его.

— Не видать по тебе, идешь здоровей прежнего!

Всеслав промолчал, дернул веревку и двинулся дальше. По пути к кладбищу прошли по берегу реки, потом обогнули Ярилину плешь и позади нее, в самом глухом месте леса, подошли к огороженному бревенчатой изгородью холму-кургану, в который издревле еще жители прежней Липовой Гривы складывали урны с пеплом покойников.

Всеслав больше не препирался с Опенком; он волок за собой легкие санки и размышлял о том, почему боги именно сейчас обрушились на весь. Одно горе и так уже стояло на пороге каждой избы, зачем же новое?! Никто из смердов не оскорблял кумиров, все молятся только своим богам. Ладно бы мор приступил к Чижам — там убили попина, теперь строят христианский храм; но почему же Род ударил по Гриве?!

Жутко было то, что теперь он, вечный изгой, не мог никуда сбежать.

Горе одно за другим обступало его здесь, в том месте, где он прожил детство, куда возвратился и вот уже десять лет живет в избе, поставленной на пепле отца, углях родного дома. Вспоминая предбывшие годы, Всеслав горестно поразился тому, как он, все время высказывая из обруча напастей, научился убегать от горя. Конечно, такая жизнь не сделала его счастливым, была в ней необъяснимая ложь. Но ведь вот тут бродячая, изворотливая его судьба окончилась. Здесь он родился, отсюда ушел и сюда вернулся, и остался ему лишь один путь — в ирье, туда, где находились все его предки и куда сейчас поднимется душа этой почти невесомой девочки.

Изгой и Переемщик остановились неподалеку от кладбища на краю небольшой поляны с черной сожженной землей. Посредине ее невысоким колодцем лежали дрова.

Опенок повел себя так, будто Всеслава нет рядом; опустив веревку санок, он ушел в лес, принес охапку хвороста и начал складывать священный костер. Уложив поленья, Переемщик опустился на колени перед мертвой дочерью и стал медленно раскачиваться, негромко забормотал что-то справа не различимое волхвом.

Соловей, тоже сходивший в лес, положил принесенный сушняк, подошел к прощающемуся с дочерью отцу.

— Солнце мое дорогое, рано заходящее, месяц красный, как же рано вы погибли, звезды восточные, почему рано зашли?! Темный лес к земле преклоняется, никнут травы-цветы от жалости. Сейчас пойду поищу сердечное мое дитятко, обойду-ка я всю весь. Дитя не сидит ли где на беседушке?!

Опенок выговаривал полагающиеся слова, но не печаль, а ожесточение и злость наполняли их. Волхв изредка тайно взглядывал на него, но опущенного вниз, к земле, лица Переемщика не видел. После причитания тот тяжело поднялся, отнес в сторону урну, потом в одиночку попытался установить санки с трупом на поленницу; Всеслав поспешил к нему, и они вдвоем уложили девочку на костер.

Все так же молча Опенок повернулся и зашагал к Ярилиной плеши за огнем, однако сразу вернулся, вынул из-за пазухи красивые — с красными и белыми горошинками — бусы, разукрашенную глиняную ложку, положил их на грудь мертвой дочери.

Когда он снова ушел, Соловей устало опустился на землю; он жалел, что пошел сюда с Опенком — злоба осиротевшего отца, обвинения в несчастье, пришедшем в Липовую Гриву, обидели его, хотя волхв и понимал, что смерды в веси, конечно, ждали помощи, но так и не получили ее. Может быть, они посылали к волхву гонцов, но напрасно стучали те в дверь избы, где в беспамятстве лежал Всеслав. Плохо и то, что теперь, когда надлежало поспешить в Гриву, он остался тут, на кладбище. Волхв поднял голову, глянул на синеватое покойное лицо девочки, готовой к уходу в ирье, подумал, что ей теперь, наверно, столько же лет, сколько было ему, когда он выбирался из горящей избы и потом прижимался к черной рыхлой земле огорода. Великий Род уберег его тогда от гибели, но счастья в жизни так и не дал.

С дымящейся головней в руке вернулся Опенок, он опустился перед костром на колени, стал раздувать огонь. Пламя разливалось по хворосту медленно, нехотя. Сперва поленья окутались белым дымом, потом внутри поленницы запрыгали красные горячие лоскуты.

Жар стал быстро нарастать, и Переемщик на коленях отполз от

костра. Замерев рядом с волхвом, он упорно глядел на гудящий огонь. Когда у девочки загорелись волосы и лопнули глаза, отец коротко простонал, но сразу же затих.

В каменной неподвижности он пробыл до тех пор, пока костер не погас. Еще вздувались краснотой от ветра угольки в пепле, когда Переемщик резко вскочил, надел рукавицы, поспешно сложил горячий пепел в непрокаленную желто-зеленую урну. Потом, прижав ее к груди, он зашагал к кладбищу и исчез в черном проходе кургана.

Волхв дожидался его перед изгородью.

Опенок появился неожиданно скоро. Он приостановился, вытер о подол рубахи руки, будто удивившись постороннему, глянул на Всеслава и буркнул: «Пойдем», проходя мимо волхва.

Они побывали на капище, где Переемщик положил кумиру несколько полных сот, рыбу, ломоть хлеба. Тягостное горькое молчание угнетало Соловья, и он, недолго постояв перед Родом, попрощался, зашагал к выходу. Однако Опенок остановил его.

— Погоди-ка, волхв Соловей, — хрипло произнес он. — Не уходи, выпей со мной поминальную!

За оградой кумирни Переемщик расстелил на траве полотенце, положил на него яйца, печеное мясо, хлеб, налил в ковшик пахнущий вишней мед[35], протянул Всеславу. Затем он большими глотками выпил сам, но есть не стал, а, глядя на волхва, резко спросил:

— Ты-то хоть знаешь, как меня зовут?

Соловей молчал — он слышал в веси только клички этого человека, но имени его при нем ни разу не произносили.

— Доброслав меня кличут! Понял?! Не Опенок, не Переемщик, а Добро-слав! Не забудь!

Трясущимися руками, расплескивая мед, он снова наполнил ковшики.

— Хоть ты и не настоящий волхв, а изгойский, пришлый, скажи мне — за что Род терзает Гриву?! За что Свету мою уморил?! У девки только жизнь начиналась — и вот нету ее! Баба с полатей спуститься не может, лучину без меня в избе зажечь некому! За что?! Тебе хорошо, ты одинехонек, всей заботы — утробу напихать! Люди в веси от боли по земле катаются, а тебя нету, пропал! Иди умоляй Рода, настои-зелья вари… Может, моя Пересвета жива бы осталась… Ты где был?! Вот погоди, подохнешь в своей чащобе, глаза тебе закрыть некому будет! Попомни мои слова! Смерд без роду и без племени! Изверг, калика!

Всеслав смолчал; он осторожно поставил на полотенце наполненный медом ковшик, поднялся с земли и зашагал по тропинке с холма.

— Иди, иди! — крикнул вслед Опенок. — Я вот подумаю-подумаю, да поклепом[36] выдам тебя княжьему вирнику, он тебе на бороду-то нагадит[37].

Когда волхв подходил к своей избе, уже стемнело. Желтая луна висела над лесом, и от ее холодных лучей среди деревьев сгустился мрак.

Всеслав медленно поднялся по скрипучим ступенькам, отпер дверь и

---

35 хмельной мед тогда чаще всего варили на вишне или малине

36 поклеп — ложное обвинение; все сделки в те времена были устными

37 чрезвычайное в те времена оскорбление

шагнул в сени. В потемках он нащупал вход в избу, переступил порог. Тут лежала медвежья шкура, и Соловей бесшумно прошел по ней к печке, раздул на загнетке огонь, зажег лучину. Вставив ее в светец, он приблизил лицо к висевшему рядом на стене бронзовому зеркальцу в деревянной оправе.

В сумеречном свете он увидел чужое лицо — белые волосы и серая короткая борода делали его темным, неживым. Впервые он сейчас подумал, что жизнь прошмыгнула так быстро, что он ничего в ней как следует не понял, не испытал счастья. Ходил-бродил по бесконечной земле, учился ремеслу и познавал силу трав, вернулся наконец в отчизну, обрел желанный покой, но вот вымирает Липовая Грива, в Чижах сидят попин и вирник и гонят плотников делать христианскую церковь. За что все это? Злоба, конечно, говорила на Ярилиной плеши в Переемщике, но спрашивал-то он верно! За что Род убивает смердов? Ведь никто из них не поколебался в вере! Или бог уже видит будущее и знает, что постепенно русичи привыкнут к попам иноверным, станут внимать их хитрым, ложным словам и потом повернутся к Иисусу?!

Всеслав тяжко вздохнул, подошел к развешенной на стене сети, которую чинил ослабевшими после болезни руками, оглядел ее, подергал, присел на лавку. Лучина разгоралась, и по избе заметалась белая моль. Волхв устало поднялся, стал тряпкой бить ее, но скоро бросил это занятие, вспомнив, что у него нет хлеба.

Он пошел в угол, к двери, где у него хранилась в пузе соль, ржаная закваска для хлеба и кваса, решето с сухарями и воск. Скатав из него свечу, он оглядел жернов. Недавно в верхнем камне-бегунке появилась трещина; волхв пощупал ее, успокоился — молоть зерно было еще можно. Он укрепил свечу, подмел веником вокруг короба и лотка, собрал в горсть собранное зерно, вышел из избы.

Посветлевшая луна и яркие звезды горели над черным лесом. Густая короткая тень пробежала перед Всеславом, когда он шагал по двору к изгороди.

Кур здесь, в глуши, волхв не держал, и сметенные с пола зерна высыпал птицам, уже привыкшим к его подачкам и ранним утром слетавшимся к его избе.

Стряхнув не землю сметки, он вернулся в клеть. Тут густо пахло заготовленными травами, на стенах висели принесенные смердами связки лука, стояла кадка с медом, к шесту было привязано несколько тоже подаренных бобровых и беличьих шкур. Соловей набрал в сусеке ржи в ушат, пошел в избу.

Крутить тяжелый жернов очень не хотелось, от усталости и недавней болезни у него кружилась голова, но надо было поставить опару, и волхв начал дробить тяжелым пестиком зерно в каменной ступке. Вдруг ему показалось, что за окном промелькнуло что-то светлое. Всеслав испуганно повернулся туда.

За окном, не закрытым ставней, виднелся освещенный луной лес, лежала бесконечная тишина. Немного погодя в подкровелье прошуршала летучая мышь, и-за матицы ссыпалось на пол немного сухой земли, и снова безмолвие окружило волхва. Но едва он несколько раз опять ударил пестиком, уже отчетливый стук влетел в избу. Всеслав замер; до сих пор он тут не встречал ничего страшного: звери летом никогда не подходили близко, набегов из-за Волги не было. Однако сейчас кто-то явственно бродил перед окнами.

Соловей задул свечу, замер, вслушиваясь в темноту. Затем он ощупью снял со стены лук, вставил стрелу и вышел на крыльцо. Изготовившись к стрельбе, Всеслав настороженно стал оглядывать ближайшие деревья и вздрогнул, увидев появившегося из-за угла избы невысокого человека.

— Не стреляй, один я, сирота бродячий, — донеслось оттуда.

Волхв опустил лук; к нему по ступенькам робко поднялся мальчик с необычайно светлыми волосами и остановился.

— Ты чего ночью бродишь? — спросил Всеслав, взял ночного гостя за плечо, ввел в неосвещенную избу.

Засветив лучину, он повернулся к двери.

— Раздевайся, есть станем!

Мальчик сбросил с плеча суму, снял надетые на босу ногу лапти, подошел к столу.

— Я по ночам не хожу, — будто оправдываясь, проговорил он, — зверь загрызет! Я сюда еще вечером пришел, вижу, нет никого, ждал-ждал и уснул, только сейчас очнулся.

Всеслав выставлял на стол еду и осторожно оглядывал сироту, удивляясь его худобе. Держался тот, однако, спокойно, не робко, видно, не впервые входил и садился за стол в чужих избах.

— Все, ешь! — сел волхв напротив гостя. — Хлеба только нету, вон начал молоть; пока сухари бери. Откуда хоть ты?

Мальчик привычными словами, без боли, без горя, рассказал, что два лета назад на их весь напали ночью черные люди, убили отца, угнали с собой мать и сестер.

Волхв потрясенно слушал рассказ; до удивления жизнь этого сироты повторяла детство самого Всеслава. Просто так совпадения быть не могло, и Соловей все ясней сознавал, что боги зачем-то установили путь этого мальчика, наведя его на одинокую лесную избу. В сироте ничего необыкновенного не было, сейчас он медленно ел облупленное яйцо, посыпая из щепоти солью. Лишь необычайно светлые, почти белые его волосы будто повторяли седину волхва.

После ужина Всеслав уложил его спать, а сам вернулся к жернову. Уже глубокой ночью, поставив опару, он подошел со свечой в руке к полатям, остановился перед спящим на спине мальчиком.

Внезапно затрещал сверчок, и волхву показалось, что на этот раз он звучит по-особому, так, как он слышал его в детстве.

Изгой Соловей провел ночь беспокойно; привыкший спать в избе в одиночестве, он все время, даже сквозь сон, ощущал дыхание мальчика и все боялся, что тот бесшумно сбежит.

За окнами беспрерывно шумел в лесу ветер да изредка пробегал какой-то зверь. Ранним утром, когда в избе забрезжил зеленоватый рассвет, Всеслав поднялся, тихо пошел к печке и тут обернулся, ощутив на себе взгляд проснувшегося сироты.

— Лежи пока, — почему-то прошептал он ему. — Рано еще. Я в весь схожу

— болезнь там… Ты не уходи, дождись меня, ладно?

— Ладно, — пообещал мальчик.

Волхв умылся, перед зеркалом причесал гребешком волосы, пошел за травами. Он не знал, какой мор напал на смердов в Липовой Гриве, и положил в большой туес понемногу всего — даже огнецветку для сердца и василистник против чахотки.

Подходя к веси, Всеслав увидел на конце улицы нескольких мужиков.

Часть из них стучала поблескивающими на солнце секирами, другие устанавливали из приготовленных бревен раму размером с обычную дверь; готовили огромное веретено для получения священного спасительного огня. Посредине рамы, воткнув заостренным концом в углубление колоды, поставили торчком тяжелое бревно, обвили его длинным ремнем и стали быстро крутить, поочередно дергая за концы ремня.

Волхв положил на землю лук и туес, присоединился к смердам. Резко взвизгивало бревно, крутясь острием в обложенной сухим мохом воронке, но трава все не возгоралась. Уставший Всеслав вытирал с лица и глаз едкий пот, поглядывал на мужиков. Среди тянувших ремень с противоположной стороны стоял Опенок в распоясанной серой рубахе. Соловей попробовал вспомнить недавно сказанное ему имя Переемщика, но так и не смог, не успел, потому что из мха вырвался крошечный и легкий, как выдох, дымок и остановился над землей. Смерды завертели бревно поспешнее, затем Опенок прыгнул к колоде и воткнул в воронку узкую полоску бересты. Вокруг замерли хрипло дышавшие мужики. Но огонь стал разгораться; Переемщик, не глядя, нашаривал рядом с собой приготовленную бересту, укладывал на невидимо горевший мох. Наконец пламя тихо защелкало, и мужики окружили священный костер, долго неподвижно стояли, глядя на возможное спасение.

Вокруг на земле лежали щепки и свежая стружка, ее собирали и осторожно опускали на огонь.

После долго усталого молчания стали разносить огонь по веси — подожгли четыре больших костра во всех сторонах Гривы, потом накололи лучины и, возжегши ее, почти бегом понесли в свои избы.

Прикрывая огонек ладонью зашагал по улице и Всеслав. Ветер гонял над дорогой густой дым, в нем появлялись и пропадали спешащие мужики.

Пройдя несколько шагов по краю дороги, волхв свернул и поднялся в ближайшую избу. Осторожно перенос он через порог горящую лучину, закрыл за собой дверь, осмотрелся.

Из окна через всю избу тянулся длинный узкий луч солнца, упиравшийся в пустой ушат для воды. Всеслав разжег печь, пошел в горницу, остановился

— на полатях неподвижно лежали люди с белыми, мертвыми лицами. Справа, головами друг к другу, вытянулись старик и баба, штанина у мужика задралась почти до колена, и на тощей ноге виднелся темный, давно заживший шрам.

Повсюду гудели мухи, часто влетавшие в солнечный свет. Волхв подошел к покойникам, закрыл им глаза, вернулся к печке — священный огонь тут уже не был нужен, — стал разбирать поленья. Он так задумался, что не сразу услышал чьи-то слова.

— Огневицу-лихорадку огнем пугаешь?

Вздрогнув от неожиданности, Соловей поднял голову; сверху на него глядела маленькими мокрыми глазами древняя старуха. Во ввалившемся рту ее страшно торчал одинокий желтый зуб.

Старуха и волхв долго в упор смотрели друг на друга, потом она протянула к нему тонкие черные руки с длинными костлявыми пальцами. Всеслав осторожно снял ее с печи и ахнул от удивления — в бабе совсем не было веса.

В горнице он остановился, не решаясь положить старуху возле

трупов.

— На пол опусти, — прошелестела она ему в ухо.

Волхв сперва посадил ее, потом, постелив несколько бараньих шкур, перенес на них. Старуха вытянулась навзничь и закрыла глаза. Волхв сел рядом.

— Я помру сейчас, подожди немного, не уходи, — заговорила старуха. Она произносила слова едва слышно, однако они тяжело и уверенно расплывались по избе.

Мухи закружили над ее лицом, одна села на глаз, и старуха, отгоняя ее, шевельнула веком. Черное бездонное око, уже увидевшее ирье, уставилось на Соловья.

— Меня мать с отцом Забавой назвали, а в веси люди кликали Оладьей… девкой я пышная была, белая… привыкли… видишь вот, какая я, а все Оладья, — растянула посиневшие губы умирающая. — Они вон, — шевельнула она головой, — дочь, зять, внуки — все Оладья да Оладья, а первые померли. Зять-то испугался, плакал, видно, не устал еще от жизни…

Старуха надолго умолкла; Всеслав ждал, потом поднялся, подложил в печь дров. Сизый дым гуще потек к потолку.

Когда он вернулся, Оладья не пошевелилась, только дрогнули веки.

— Ждешь? — едва слышно спросила она.

Соловей промолчал.

— Богов мы обидели… за вины наши и навели они бедствие… человек ведь не знает ничего, все боги…

Она опять умолкла, но вдруг громче прежнего произнесла:

— Соловей, дай скорее помереть! Избавь… не продлевай жизнь, сил больше нет. Все мои уже перед Родом стоят — пусти к нему! Избавь от жизни!

Перебирая по полу паучьими пальцами, она потянулась к волхву усохшей рукой.

— Детство все не забывается, его жалко, помоги помереть! Мука не страшна, память сердце гложет!

Медленно и тяжело Забава повернула голову и помутневшими глазами взглянула на Всеслава.

— Помоги, — прошептала она.

Волхв поднялся, взял на пороге свой туес, стал выкладывать на стол травы. Достав болиголов, он обернулся к старухе. Ты умоляюще смотрела на него. Передвинувшийся солнечный луч подбирался по полу к ней.

Нигде в доме не оказалось воды, и Всеслав вернулся к Забаве, склонился к ее лицу.

— Воды принесу! Потерпи!

Дым священного огня все еще клубился среди изб Липовой Гривы. Полыхали на концах улицы костры, но людей нигде не было видно.

Мокрая ременная веревка все выскальзывала из ладоней волхва, пока он поднимал из колодца воду. Наполнив ушат, Всеслав сел на край колодца; ему очень не хотелось возвращаться к умирающей Забаве: там был жуткий предсмертный полумрак, здесь же тепло светило солнце, тихо поскрипывало висящее за спиной на журавле ведро, а перед глазами металась бабочка-капустница.

Однако бездействие нужно было прерывать; волхв поднялся, взял ушат, пошел к выморочной избе.

Услыхав тоскливый скрип двери, старух чуть пошевелилась. Всеслав налил воды в латку[38], поставил на огонь, дождался, пока она закипит, всыпал болиголов, сдвинул к краю печи и накрыл сверху полотенцем.

Затем Соловей осторожно подошел к Оладье и снова опустился перед ней на пол. При каждом вздохе в тощей груди умирающей старухи булькало, словно там что-то переливалось с места на место. Солнечный луч совсем сплющился и теперь узенькой полоской пересекал морщинистое серое лицо Забавы. Она все-таки почувствовала приближение волхва, медленно раскрыла глаза, зашевелила губами.

— Давай, — выдохнула старуха.

Никогда прежде Соловей не давал яду людям; сегодня, до этого мига, ему казалось, что он поступает правильно, прекращая страдания обреченной Оладьи, но теперь что-то неясное остановило его.

Забава догадалась о его испуге.

— Помоги умереть, память гложет, тяжело… — прошептала она.

Всеслав процедил отвар, опустил в него палец — отрава была очень горячей, и он воткнул дно кружки в воду в ушате.

Потом свои шаги от стола к старухе он будто считал, так медленно и напряженно он их делал. Склонившись на коленях к Забаве, он поднял ее легкую голову, поднес ко рту кружку. Единственным зубом она прижала к нижней губе ее край — и яд вытек в старуху. С каждый глотком она оживала, разглаживалось и светлело лицо, из глаз уходил туман.

— Роду о тебе доброе слово замолвлю, — опрокинулась опять на шкуры Оладья. Она долго молчала, но вдруг, словно вспомнив что-то, пошевельнулась и заговорила:

— Умирать легко, запомни, память только страшна, я ведь ребенком была, дитем светлым, а теперь все… ушло все… а один денечек помню… как хорошо было, хорошо… Нет, ты мне помоги, совсем помо…

Внезапно рука старухи поднялась, и она твердыми холодными пальцами сильно сжала ладонь волхва; губы ее мелко задрожали, задергались веки на высохших глазах, потом затрепетало все тело, будто полоснула по нему жестокая судорога, и ее рука, громко стукнув, упала на пол.

Тишина ворвалась в избу. Лишь потом Всеслав стал различать гул мух, носившихся над мертвецами, и треск горящих в печи дров. Он накрыл лицо умершей Оладьи мокрым от яда полотенцем, выплеснул на огонь остатки болиголова, шагнул к двери.

На пороге он остановился и обернулся: мертвая изба потемнела, лишь напротив печки по темной стене еще бегали блики от догорающего священного огня.

Выйдя на крыльцо, он увидел бредущих по улице, среди дыма и пыли, оставшихся живыми в веси смердов. Мрачные мужики, бабы в чистых поневах, с детьми на руках, притихшие подростки безмолвно шагали вслед за Опенком, несшим за связанные лапы большого белого петуха. Переемщик был сильно пьян.

Услыхав стук двери, смерды приостановились, глядя на волхва; один Опенок, ни на что не обращая внимания и неловка переступая подгибающимися ногами уходил дальше.

---

38 латка — глиняная сковорода с высокими краями и полой ручкой, куда при посадке в печь вставляли палку

Соловей сошел с крыльца и вместе со смердами зашагал из веси. Шли медленно, долго. Всеслав думал и никак не мог понять, как же получилось, что он послушался старуху и дал ей отраву. Его будто околдовали: вместо того, чтобы исцелять, он убил, убил своими руками, спокойно, уверенно; и ведь шевельнулась же в нем тайная радость, когда Оладья сказала, что донесет о нем, волхве-изгое, Роду и великий бог не забудет эту весть. Нет, нет, оборвал себя Соловей. Ничего, кроме сострадания к умирающей, в нем не было, и не для выгоды перед богом протягивал он яд Забаве.

От наступившего зная вода в Клязьме будто остановилась. Опенок, первым вышедший на берег, осоловелыми глазами долго смотрел на замершую реку, потом поднял петуха. Птица, первой на земле приветствующая солнце, забила крыльями, пытаясь вырваться из рук пьяного Переемщика. А он дождался, пока вокруг столпятся смерды, и, далеко занеся за голову петуха, швырнул его в Клязьму.

Неловко дергая спутанными лапами, тот замахал, забил крыльями, но полет птицы был недолгим, и она звучно упала на воду. Петух быстро устал и, разметав в стороны намокшие крылья, все вскидывал вверх голову с обвислым красным гребнем, уплывая по невидимому течению за поворот.

Совсем уже далеко он опять заколотил по воде крыльями, взбивая брызги, в которых ненадолго вспыхнула радуга.

Когда петух пропал из глаз, Опенок выбрался на берег и опять впереди остальных смердов двинулся к Ярилиной плеши. Коротким был тот путь к кумиру, но за это время из-за леса поднялась черная туча, сырой ветер стал разгонять неподвижную дымную теплынь.

Сложили в костер дары и замерли перед огнем. Расталкивая смердов, к кумиру подошел Переемщик. Лицо его будто одеревенело, красными немигающими глазами Опенок ожесточенно смотрел на бога. Вытянув над пламенем руки с зажатыми в них сотами и мешочком с зерном, Переемщик вдруг замер, отшвырнул дары в сторону, шагнул дальше вперед, почти в костер, и плюнул на кумира.

Всеслав услышал, как вокруг охнули люди, но сам не отводил глаз от лица Рода. Ждал он напрасно — бог все так же бесстрастно глядел вдаль, на бесконечную Русскую землю.

Чего-то страшного ожидал, видимо, и Опенок. Но время шло, ничего не происходило; тогда он обернулся к оставшемуся живым в веси народу и выкрикнул:

— Выпучились?! А вот еще плюну! Пусть терпит! Сколько мы к нему ходим, сколько добра отдали! Пусть скажет, за что дочь мою убил, жену убил! И всех твои, и твоих, и твоих! — тыкал Переемщик пальцем в толпу. — А мы все тащим ему! Полвеси трупами лежит… Ну?! Зачем ему кланяемся?! Ты ему зло сделал? Ты? Ты? Ты? А помощь от него хоть раз получили, добро видели?! И все ждем! Запомните: знать его больше не хочу!

Опенок отошел от кумира, но, увидев волхва, остановился.

— Ты ведь холоп его, толковать обязан, изреки слово веси, ну!

Всеслав безмолвно глядел в разъяренные глаза Переемщика. Тот же стал раскачиваться, будто хотел напасть на волхва, потом вдруг плюнул и в Соловья. Волхв успел уклониться, и плевок попал на ухо. Всеслав утерся, той же рукой ударил обидчика. Кулак попал в скулу, но и Опенок

кинулся на волхва.

Их сразу же разняли; Соловей отплевывался кровью, все поворачивался, отыскивая Опенка, однако тот, растолкав мужиков, убежал из кумирни.

Потом кто-то проговорил Всеславу: «Уймись ты! Ему что, Опенку, пойдет в другую веру, к христианам — и все! А ты поучать его взялся!»

Кровь долго сочилась из разбитой губы, волхв вытирал ее рукавом, торопливо возвращаясь в свою избу.

Туча повисла над лесом, сделалось темно, и по веткам застучали капли дождя.

Когда тропинка свернула к избе, Всеслав испуганно остановился, увидев, что из волокового окна идет густой дым; только сейчас он вспомнил, что там остался пришедший ночью мальчик. Радость подхватила волхва, он вбежал на ступени, распахнул дверь. Ность стоял возле печи; от внезапного стука он резко повернулся, но, увидев хозяина, успокоился. Оказалось, что мальчик уже испек хлеба, сварил кашу и давно ждет Всеслава.

Когда поели, Соловей долго безмолвно сидел за столом. Мальчик тоже притих, не беспокоя задумавшегося волхва.

— Знаешь, — решился Всеслав. — Ты оставайся тут навсегда. Вместе будем. Как люди говорят, своя избушка — свой простор. Я тоже ведь с детства сирота, только старый уже, на санех[39]. Жизнь дальше вместе коротать будем, ладно?

Поспешно выговорив эти слова, Соловей робко взглянул на мальчика. Тот сидел неподвижно, опустив голову, и волхв видел, что он с трудом сдерживает слезы от непривычной ласки.

Тогда Всеслав быстро поднялся, стал собирать со стола посуду; засуетился облегченно и сирота. Они вместе споро прибрали в избе, осмотрели репища и капустники на огороде, потом сходили в лес, проверили ближние перевесы-ловушки и борья, а когда в потемках шагали к избе, волхв вдруг подумал, что до сих пор не знает имени мальчика. Он спросил, и сирота поспешно ответил: Всеслав, Слава!

Соловей даже остановился — это было не просто чудо; до конца стало ему ясно, что маленький сирота прислан богами. Но в тайне этой скрыт какой-то огромный смысл, непонятный пока волхву.

Взбудораженный Всеслав долго не мог уснуть. Он ворочался на полатях, прислушивался к ровному дыханию мальчика, шуршанию мышей в подполе, и постепенно в нем все уверенней укреплялась мысль, что Род привел к его избе мальчика, чтобы заменить волхва на земле. Еще раньше он понял, что из Чижей надвигается неостановимая смертельная опасность и со дня на день она обрушится на его избу. Попы не остановятся; помнил же он, как жестоко громили они кумиров в Киеве и потом плетьми и копьями загоняли русичей в Почайну. Суровый выбор встал перед людьми — либо плюй в своего бога, либо умри!

Так же будет и тут, в Липовой Гриве. Но уйти уже некуда! Навьи всех его предков прилетали сюда, их пепел испокон веков хранился в глиняных урнах-избушках, расставленных на кладбище. Куда, зачем сбежит он отсюда?

---

39 «сидя на санех» — выражение того времени, означающее «накануне смерти»

Волхв хорошо помнил христиан, живших в Киеве; они ходили к своему Илье, молились там раскрашенным доскам и до времени не приставали с поучениями к русичам. Но все почти иноверцы были пришельцами из других земель, и Всеслав каждый раз недоумевал, если ему говорили о величии Иисуса. Он знал, что мир, окружавший его с детства, населен богами; вот даже сейчас в избе сторожит покой домовой, наполняет ярой силой землю Велес, льет днем с небес горячие лучи солнце-Дажьбог.

Бог же христиан жил где-то далеко, и нужно было обязательно умереть, чтобы его увидеть. Это было непонятно.

Задремал Всеслав лишь под утро, когда в избу стал проникать через окно прохладный, сырой рассвет.

Соловей разделся и шагнул в реку. Остывшая за ночь вода Клязьмы обожгла его; волхв остановился, привыкая к речной прохладе.

Впереди, посредине потока лежал небольшой островок, поросший кустами. Через него проходил пеший брод из Липовой Гривы в Чижи. В самом глубоком месте вода поднималась до шеи, и Соловей двигался тут осторожно, ощупывая ногами илистое дно.

По небу проносились клочки разорванных ветром ночных туч, солнце то скрывалось, то выглядывало, быстро прогревая неподвижный воздух.

На мягком чистом песке острова лежали гнезда чаек; рядом с ними валялась скорлупа птичьих яиц и бегали испуганные серые птенцы.

Редким был год, когда они выживали; обычно вода смывала весной гнезда и уносила на дно пятнистые яйца. Во время половодья река забрасывала островок сучьями, мусором, они наполовину тонули в сыром песке, но едва остров просыхал, тут снова селились упрямые чайки и наново складывали неуклюжие свои гнезда.

Вспугнутые птицы заметались над человеком, потом накинулись на него. Взлетая вверх, каждая чайка затем стремительно нападала на волхва и только перед самым его лицом сворачивала, мелькнув красными лапками. Взмывая к небу, птицы тоскливо вскрикивали, будто умоляли человека быстрее уйти с клочка их земли.

И волхв поспешно пересек остров, сошел снова в реку и скоро поднялся на противоположный берег. Здесь он оделся, двинулся вдоль Клязьмы, потом свернул в сторону Чижей. Пройдя версты четыре, Всеслав почувствовал запах гари; он сперва испугался, но потом успокоился, сообразив, что до веси еще далеко, и, если бы там горели избы, дым не достиг бы этих мест. Видимо, неподалеку работали смерды, выжигая лес для новой рольи. Но и это показалось странным, ибо поп и вирник не могли освободить мужиков от постройки храма. Однако дым, оседающий между деревьями, становился все гуще, волхв двигался в нем иногда как в тумане и скоро вышел на скрытую в лесу большую поляну. С одного края она была недавно вспахана, и по черной земле, тяжело подпрыгивая, ходили галки. В дальнем же конце новой рольи догорал поваленный лес. Обратившиеся в уголь деревья густо чадили; над ямами топорщились белыми корнями-жилами пни. Над палом неподвижно стоял раскаленный, налитый дымом воздух.

Шагая по краю поляны, Всеслав думал, что увидит кого-нибудь из смердов, однако людей тут не было. Теперь должно было пройти несколько дней, пока на эту опаленную и усыпанную углями и пеплом землю разбросают зерна будущего урожая, хлеба.

То, что на пале не оказалось народа, встревожило волхва, и он поспешил в Чижи. Однако в веси все выглядело спокойным, хотя несколько смердов бесшумно толпилось сейчас возле своей кумирни, позади Рода.

На околице Чижей Всеслав остановился, стал раздумывать — идти к людям или нет. Уже в первые свои приходы сюда он, как мог, остерегался попина Кулика и княжьих слуг; после увиденного в Киеве волхв знал, что они свое дело начинали с разгрома русских кумиров. Опале и избиению подвергались и охранители богов — волхвы[40].

Так что нынешняя тишина в Чижах была временной: придет день, попин, и отроки и здесь иссекут кумиров, а смердов погонят в Клязьму или Вохну, заставят сменить веру и имена.

Соловей присел на сруб заброшенного колодца, из которого несло гнилым тяжелым воздухом; как никогда до сих пор, ясно он понимал, что его поединок с попином случится непременно. Он, волхв, будет следующей жертвой после Рода. Всеслав догадывался, что и встреча его со Сварожичем, и маленький Всеслав-сирота, подошедший в ночной тьме к его избе, — все связано с предстоящими событиями, все есть подготовка к тому страшному и неизбежному, что не сегодня-завтра начнется тут.

И колодец, будто нарочно, особенно сильно выдыхал на него затхлость, словно подземный Велес предупреждал волхва. Столько времени когда-то промучились в Чижах с этим срубом, но едва его построили, вода ушла, просочившись глубже в землю.

После долго раздумья, Всеслав все-таки поднялся, двинулся в весь. Со стороны нескольких изб на улицы плыла мелкая серая пыль; приглядевшись, волхв понял, что там разломали печи[41]. Значит, схватка византийца с русичами уже началась, на смердов обрушились первые наказания.

В середине толпы угрюмо стоящих мужиков у сложенных в кучу плотницких секир чертил что-то щепкой на земле черный попин. У него были длинные волосы и длинная же борода[42] с сединой вокруг рта. Учуяв шевеление, он поднял голову, и они — волхв и попин — уперлись друг в друга взглядами. Глаза у византийца были умные, внимательные; оглядев незнакомого человека, он опять наклонился к земле, продолжая царапать по ней.

— Вот, братья, как надо сделать, — распрямился попин. — Вирник, что повелел в один стук храм поднимать, во гневе был, печки зря порушил. Мы же с вами просто поспешим, но и отдыхать будем, как бог велел.

Волхв удивленно вслушивался — привезенные Владимиром в Киев царьградские и корсуньские священники по-русски не знали ни слова; сейчас же, через десять лет, иноверный попин уже запросто разговаривал с вятичами.

— Всем понятно?! — вдруг рявкнул сидевший в стороне на бревнах

---

40 здесь следует указать, что постепенно волхвы на Руси превратились в скоморохов, которые в своих песнопениях прославляли «золотой век»

41 уничтожение в избах печей было одним из наказаний того времени

42 до христианства на Руси длинных бород не носили

вирник, не замеченный Всеславом. — Или еще несколько печек разломать?!

— Послушай! И ты послушай! — заговорил передний мужик в новой синей рубахе. — Как он говорит, — качнулся он в сторону попина, — мы не сможем делать, не наша работа!

— Сделаешь, — промычал вирник.

— Погоди! Он ведь начертил, что ему надо; теперь пусть отойдет, сами мы лучше сделаем! Он, попин, человек не здешний, дела не знает.

— А ты, раз знаешь, сам и делай! — угрожающе прошептали в толпе, и вирник впился взглядом в смердов.

— Не понял меня человек, — спокойно ответил плотник. — Я говорю: все равно делать придется, а то печи разнесут либо избы раскатают. Ясно ведь…

— Кому надо, и черепа пораскалываем! — перебил вирник.

— Ясно ведь, раз не ушли мы из веси, надо поднимать их кумирню. Заморский же человек секиры сам не держал, рассказывает и скребет по песку с чужих слов. Сделаем сами быстро — разойдемся по избам и рольям.

Толпа молчала; тогда мужик подошел к попину, осторожно взял у того из руки щепку и, затерев лаптем нарисованное византийцем, начертил по-новому.

— Вот как надо… Нижний венец не тут ставить, а тут и так. Подпорок совсем не надо, матицами укрепим. Поняли?

Смерды придвинулись к плотнику, но волхва сзади кто-то остановил, потянув за рубаху. Он обернулся и увидел двух стариков — Ора и Ратая[43]. Они чаще других из Чижей похаживали к нему за травами, и каждый раз, встречаясь, Ор весело говорил:

— Вишь, земля по нас стонет, а мы все бродим! Видно, бессмертный я — жить буду еще сорок сороков зим и лет!

Сейчас лица стариков были строгими.

— Пойдем-ка, нужен ты нам, — попросил Ратай.

Они отошли на несколько шагов, но в толпе смердов забушевали, разом заговорили, и снова раскатисто зарычал вирник.

Старики и Всеслав поспешно вернулись, протиснулись вперед.

— Ляльник[44] же сегодня, какая работа?!

— Ваших праздников больше нет, — нахмурился попин. — Бесовские эти пляски! Ну, вы…

— Не запряг, а нукаешь… — перебили из толпы.

— Остановитесь! — поднял руку плотник в синей рубахе. Когда притихли, он обратился к попину: — Мы тебе сказали — завтра делать начнем твою кумирню! И сделаем ее лучше, чем ты на песке наскреб, но сейчас уходим…

— Печки все расшибу, — рявкнул вирник.

— Сейчас начнем завтра, и по-своему! Понял, попин? Зав-тра!

— Ладно, — вдруг согласился византиец. — Но Рода сбейте сегодня, это недолго!

Шум мигом оборвался, даже вирник замер с ехидной улыбкой на красном испитом лице. Безмолвие тянулось долго, но ощущалось в нем

---

43 Ор — гудец, скрипач; Ратай — пахарь

44 ляльлник — праздник богинь Лады и Лели, отмечался 22 апреля

все нарастающее напряжение, и волхву показалось, что вот-вот кто-нибудь из смердов повернется, все разойдутся по избам и тогда уже никакие кары не заставят их слушать иноверца. Это, видно, понял и попин.

— Пусть, — провел он рукой по воздуху, — пусть. Идите в свои дворы! Секиры же пусть здесь останутся, до утра!

Смерды стали расходиться; все они здоровались с волхвом, и попин снова зорко уставился на незнакомца.

— Идем, — толкнул Всеслава Ратай, и они двинулись к маленькой ветхой избушке Ора, давно уже жившего одиноко. Во дворе сели в тени, у изгороди, хозяин принес меду, хлеба, яиц. Двигались оба старика легко, шустро — значит, не были хворыми, и волхв все не мог догадаться, какая нужда свела их тут.

Когда выпили, к Соловью повернулся Ор, но Ратай остановил друга.

— Я знаю, постой!.. Слышь-ка, изгой, добрый человек, ты давно уж рассказывал, что был в Киеве при крещении, видел, чего эти вороги с народом делают…

— Да, я видел все, — твердо ответил Всеслав.

— И ладно; на, выпей еще и расскажи о том еще раз; нам двоим расскажи! Тогда мы слушали — да все далеким казалось, а теперь вон Кулик при секирах сидит…

Соловей начал свою весть с гибели Пепелы, великого волхва, оживлявшего восковых человечков; затем рассказал, как громили капище и избивали кумиров, как хлестали плетьми Перуна и рубили Макошь. Подробно поведал он о самом крещении, о свирепствовании дружинников, страданиях людей, загнанных в Почайну.

Когда он умолк, старики долго сидели притихшие, изредка коротко поглядывали один на другого, потом оживились, стали снова угощать гостя.

Всеслав видел, что Ор и Ратай затеяли что-то, изредка коротко поглядывали один на другого, потом оживились, стали снова угощать гостя.

Всеслав видел, что Ор и Ратай затеяли что-то, намерение их важное, и, думая о нем, они просветляются даже внешне, в лицах. Тайны своей старики не выдавали до конца застолья, но, когда волхв поднялся и стал прощаться, посерьезневший Ратай тихо попросил:

— Ты вот что, изгой, дай-ка отравы нам!

Соловей вздрогнул — его потрясло то, что вот таким же голосом вчера просила у него яду умирающая Оладья. Теперь же перед ним стояли крепкие еще старики и строго глядели в глаза. Не успел он еще отказнить себя за то, что помог умереть Забаве, как подступились новые люди, решившие сбежать к Роду. И он опять должен убивать?!

— Нет, нет! — воскликнул Всеслав.

Старики переглянулись, потупились, размышляя; потом Ратай, сдерживая голос, почти прошептал:

— Не даешь отраву, научи, как сварить!

Волхв молча пошел к воротам; тут он остановился, обернулся и раздельно, строго выговорил:

— И отраву не дам, и учить не буду! Я убийцам не потатчик!

— Да мы никого… — заволновался Ор, но Всеслав уже вышел со двора.

Соловей задумчиво брел по лесу. Со дня его первого прихода в Чижи

после появления там попина Кулика прошло несколько седьмиц, но храм-капище Иисуса там, оказывается, строить еще не начинали. Даже Рода пока не тронули — видно, пришельцы тут решили действовать уговорами, миром. Не ясно было даже, как потом поступит византиец — будет крестить в храме или отроки погонят смердов в Клязьму. Только ли жителей Чижей коснется первое верообращение или присоединят и обезлюдевшую после мора Липовую Гриву. «Я живу в стороне ото всех, — думал волхв, — и, может быть, смогу вообще укрыться от напасти. Ну и что? Тут же появилась новая мысль, ну, укроется

— и что дальше?! На другой же день обе веси пойдет в христианский храм, только он один останется на Ярилиной плеши?! Нет, Кулик не допустит такого! Став в Киеве некого не обманул!

Может быть, спасение надумали Ор и Ратай? Нет, нет, это не так! Если они и убьют попина и вирника, беды, да еще большей, все равно не миновать. Тогда уж нагрянут настоящие палачи и пощады не будет никому. Видно, старики решили убить себя, чтобы не слушать Кулика, не менять веры и не предавать своих кумиров. Но и это не спасение. Пепела, Ор, Ратай, еще несколько человек, однако не все же умирать перед надвинувшимся горем».

Недалеко от пала, где утром выгорали деревья, тропинка раздваивалась

— один путь вел к броду, другой — к священному дубу и светлой поляне, где сейчас проходил ляльник. Поколебавшись, волхв пошел на праздник. Версты через две он услышал голоса, лес начал редеть, и перед ним открылась ярко освещенная солнцем поляна, покрытая густой зеленой травой, белыми и желтыми цветочками.

Слева, в нескольких шагах от леса, отдельно рос огромный дуб. Запутавшийся в его раскидистых ветвях ветер шелестел сейчас листвой, и волхву показалось, что в этом шорохе он услышал какие-то невнятные слова. Густая тень окружала внизу ствол дерева, затеняя расчищенную от желудей и прошлогодней листвы землю. Все нижние ветки дуба были перевязаны полотенцами и лентами с вышитыми на них священными лосихами. Белые полотняные полоски беспрестанно шевелились, как живые.

С младенческих лет знал Всеслав этот дуб; ребенком, еще на руках у матери, оказывался он тут, возле сильномогучего великана, поражавшего людей своей мощью и несокрушимостью. С тех пор дерево еще больше укрепилось, заматерело, ствол и главные сучья его будто налились железом.

Ляльник только начинался. В середине поляны складывали огромный костер из веток и валежника; все мужики были нарядно одеты в синие, зеленые, белые косоворотки, обшитые по подолу узорами.

Неподалеку от них проходило главное торжество. На вырезанной из дерна скамье сидела улыбающаяся девушка с венком на голове. Сейчас она была Лелей — дочерью великой Лады — самой весной, оживляющей и расцвечивающей после зимы русский мир. Рядом с девушкой-богиней лежали хлеб, сыр, масло, яйца, стояли кувшины с молоком и сметаной; к ногам ее уложили множество сплетенных из ярких цветов венков.

Вокруг скамьи хороводом шли девушки; они были одеты в белые с красной вышивкой поневы и, по вятичскому обычаю, в белых шерстяных шапочках с начищенными медными подвесками. Плавно, красиво

кружась вокруг Лели, девушки ладно, стройно пели:

Едет Весна, едет на золотом коне, В зеленом сиянии, на сохе седючи, Сыру землю оручи, правой рукой сеючи…

Потом хороводная цепочка разорвалась, и все подступили к скамье. Девушка-богиня стала надевать им на головы цветочные венки. Зашумели, засуетились стоявшие неподалеку мужики, бабы, ребятишки. Все смешалось, закружилось; смех и выкрики разлетелись над поляной. Однако через некоторое время смерды, будто сговорившись, стали собираться вокруг колодца-костра, показался дым и поплыл к небу. Притихшие русичи терпеливо ждали, когда огонь сожжет дрова и каждый получит по горсти горячего пепла, чтобы посыпать им на счастье перед посевом семена.

Стоявший возле дуба волхв долго молча смотрел на толпившихся вокруг праздничного костра жителей Чижей; тут были и плотники, споривше недавно с попином, бабы и девки, пропустившие вперед красивую Лелю.

Не увидел Всеслав среди них только Ора и Ратая.

На бездонном черном небе сверкала луна и переливались ледяным светом бесчисленные звезды.

В Чижах стояла глубокая тишина; лишь в нескольких избах тускло горела лучина, освещавшая тяжелый серый дым, выплывающий из волоковых окон.

Серебристый небесный свет растекался по верхушкам уснувших деревьев, и весь русский мир превратился в удивительную сказку; позади веси среди прибрежных лугов черной широкой дорогой лежала река. На повороте она светлела, и там в воде блестела еще одна луна.

Великий Род глядел на притихшую землю русичей. Голова кумира, поднимавшегося над капищем, обращена к Чижам и Клязьме, а перед ликом его проплывает бесконечная белая прядь дыма, просвеченная насквозь лунным светом. Внизу, у подножья бога, видны красные горячие угли; они то ярче пламенеют, то исчезают во вселенской тьме. Порой внутри костра щелкает огонь и разметывает сразу же гаснущие искорки.

Неподалеку от кумира сидят Ор и Ратай. Их безмолвие длится долго; старики неподвижны и поэтому тоже похожи на вырезанных из дерева богов.

Но вот Ратай встал, сказал Ору: «Все, старик, поднимайся!» — и пошел к Роду.

Вплотную приблизившись к кумиру, он обхватил его, будто обнял, и стал раскачивать. Врытый в землю бог едва поддавался; от дыма старик закашлялся, но сразу же испуганно притих. Когда к нему подошел Ор, Ратай хрипло прошептал:

— Подкопать надо вот тут, заступы принеси!

Теперь они стали откапывать кумира. Отбросив в сторону несколько лопат твердой, как камень, земли, старики снова обхватили бога, попробовали расшатать. Род раскачивался, глухо стукался о края ямы и все глядел вдаль.

— Не осилим мы его, — остановился Ор.

— Молчи! Не вытащим, так повалим, разроем с одной стороны и положим.

Отдыхали недолго и снова взялись за лопаты.

Кумир рухнул, когда уже чуть посветлел край неба. Бог падал медленно, долго, выворачивая комлем остатки костра и обволакивая все дымом. Ор и Ратай застыли возле поверженного Рода, а тот лежал навзничь, лицом к звездному небу.

Ор очнулся первым, принес длинный ремень, обвязал бога. Потом они потащили кумира с капища. Иссохшее за многие годы дерево легко ползло по земле. Внизу, на росистой траве, дело пошло еще успешнее — Род скользил плавно, оставляя позади темный след.

На опушке леса старики остановились. Ратай отвязал ремень, вдвоем они приподняли голову кумира, и Ор подставил под него плечо. Более крепкий Ратай, кряхтя, взвалил на себя второй конец бога, и дальше они его несли на плечах. Ноша и теперь не оказалась тяжелой, лишь мешали встречные ветки деревьев, бьющие по лицам.

Изредка совсем рядом со стариками во тьме леса что-то шуршало, кто-то убегал прочь — и опять становилось тихо.

Ор и Ратай долго петляли, запутывая следы. Шедший впереди Ор то сворачивал в гущу леса, то выходил на освещенные луной поляны, и тогда по траве ползла их тройная черная тень.

После долгих блуканий, похитители кумира вышли к берегу Клязьмы и пошли к кургану-кладбищу. Невдалеке от него они остановились, осторожно опустили Рода на землю, сами устало присели рядом, тяжело дыша.

Рассвет становился все заметней, и Ор задвигался. Он измерил лотями кумира, достал нож и начал распарывать на земле дерн, обнажая рыхлую черную землю. Потом взялись за лопаты и скоро вырыли длинную узкую яму, вкатили в нее Рода. Схоронив бога, они накрыли его дерном, старательно смели ладонями оставшуюся землю, оглядели свою тайну.

— Вот и нету, — спокойно и довольно выговорил Ор. — Давай помянем его, и тогда… остальное…

Он потянул к себе котомку, но Ратай быстро оттолкнул его: «Не эту, вон ту!»

Ор вынул кувшин, размотал на его горлышке холстину, осторожно вылил на ладонь меду, расплескал его там, где был спрятан Род. Потом старики опустились на колени, поцеловали землю, медленно по очереди выпили из ковшика мед.

— Как же люди его отыщут? — спросил, поднимаясь на ноги, Ор.

Ратай, задумчиво помолчав, ответил:

— Он же бог — надоумит! Лишь бы цел остался, от вирника и попина уберегся. А время пройдет, его снова поставят — и нас добром помянут.

Старики бесшумно пошли к кладбищу. Серый рассвет все растекался по далекому краю неба; над рекой зарождался невесомый туман, а деревья вокруг начали понемногу оживать, подрагивать темными еще листьями.

Вдруг Ор замер, протянул к Ратаю руку.

— Совсем ум потерял, — проговорил он. — Пытал тебя, как люди тут найдет Рода, беспокоился. А ведь мы же с тобой скоро сами возле бога будем

— я ему и скажу! Правда?

Ратай промолчал.

— Чего ты? — все еще придерживая друга, продолжал Ор. — Мы его от зла уберегли, Род заговорит с нами!

— Вот и идем скорее!

Они медленно вошли в кладбище; в полной тьме на них дохнул теплый пыльный воздух, пахнущий гарью. Держась за руки, старики дошли до середины погребальницы, остановились.

— Вот у меня давненько черная курочка была — по два яичка на дню приносила, — прошептал Ор.

— Темноту увидел и вспомнил, — едва слышно ответил Ратай.

— Не знаю, может быть…

— Ну и ладно. Ор ты мой… — Ратай поперхнулся, ощупью притянул к себе и обнял друга. — Вины перед тобой не знаю, жил по совести, но все равно прости! В том миру давай тоже рядом жить, не отходи от меня!

— Как я?!.. Ведь сам знаешь…

Ор всхлипнул, и Ратай твердой мозолистой ладонью провел по его лицу, вытер на глазах необычайно горячие слезы. Потом мокрую от слез руку прижал к своему лицу, застыл неподвижно.

Однако скоро он шевельнулся, потянул Ора к земле. Они сели и прижались друг к другу. Ратай протянул во мрак руку, нащупал свою котомку и стал развязывать на ней узел. В мешке упруго зашевелились, зашипели ядовитые гадюки.

Об исчезновении Рода, Ратая и Ора Всеслав узнал в Липовой Гриве, куда пришел со свежими отварами и настоями.

Болезнь из веси постепенно ушла, лишь несколько ослабевших и исхудавших смердов еще лежали в избах, остальные же понемногу возились на огородах и рольях — весна в том году пришла рано и была на редкость теплой.

Толков о кумире и стариках ходило множество. Одни считали, что Род сам покинул Чижи и забрал самых верных людей; другие думали спокойнее и уверяли, что старики припрятали куда-то бога и сбежали. Но никто не решался предсказать, как поступят теперь Кулик и вирник. Припомнили, что они две-три седьмицы назад послали гонца в Суздаль; однако зачем сделали это — не понимали, ибо плотники уже тогда соглашались возводить в веси христианское капище.

Рассказы смердов взволновали волхва. Если Род покинул весь, не дожидаясь, пока княжьи отроки иссекут его, то исчезали все сомнения: ведь он, Всеслав, думал, что бегство перед иноверческой угрозой есть измена, но теперь, при уходе самого бога, можно было без колебаний скрыться в лесу.

Правда, на Ярилиной плеши Род по-прежнему стоял нерушимо, хотя и обрушил безвинно на весь страшную хворь и увлек к себе навьи многих здешних смердов.

И у себя в избе Всеслав, совсем недавно видевший Ора и Ратая, все не мог успокоиться и потому решил не откладывая, сегодня же идти в Чижи. Маленький Слава все время следил за ним и, когда волхв начал осматривать стрелы и лук, попросился сопровождать волхва.

Они заперли избу на замок, быстро пришли к реке, перебрались через нее по броду и зашагали к Чижам. Там, на капище, Всеслав увидел нескольких незнакомых конников. Всадники долго разговаривали между собой, потом подъехали ближе к спрятавшимся в кустах мальчику и волхву, и Соловей увидел среди них уже трех попов — рядом с Куликом скакали двое новых византийцев, тоже черных и бородатых, но намного старше его летами. «Значит, крещение уже близко, раз к княжьим людям и попину пришла подмога», — подумал Всеслав.

Он долго следил за всадниками, которые, все еще громко

переговариваясь, проехали к веси и там свернули в ворота одной из изб.

Земля в кумирне, куда осторожно пробрались волхв и мальчик, была истыкана копытами, костер давно потух, и последние дары разбросаны по сторонам. Посреди капища чернела неглубокая яма, в которой недавно стоял Род, и, оглядев ее, Всеслав понял, что унесли кумира отсюда старики Ор и Ратай и что схоронили они его неподалеку, ибо не по силам им было перенести на край света тяжелого бога.

Тайну надо было раскрыть: волхв еще не понимал, зачем ему это нужно, но какая-то сила повела его в лес.

Направились к священному дубу; по пути Всеслав рассказал мальчику о происшествии в веси, объяснил, что они идут разыскивать кумира и стариков. Сирота молчаливо выслушал, но, когда пришли на поляну, отошел в сторону и, склонившись к земле, закружил среди высокой травы.

Никаких следов Рода тут не было, и с каждым шагом Всеслав сознавал, что отыскать тайник, сделанный Ором и Ратаем, не сможет никто. Они прожили тут всю жизнь, ведали каждую тропку и могли укрыть и укрыться бесследно. Но вдруг мелькнула мысль — они ведь просили у него отраву. И если все другие живы, то нужна она была им самим.

Волхв кликнул Славу, и почти бегом они помчались к кладбищу.

Соловей догадался верно — в черном мраке кладбища лежали мертвые старики. Бессильный свет едва пробивался в погребальницу, освещая установленные здесь глиняные урны.

Сколько веков жила вятичская весь, сколько людей рождалось тут, чтобы рубить и выжигать лес, засевать пал и собирать урожай! Все дни трудились русичи на своих рольях и потом благодарили Солнце, Весну, Небо; нетерпеливо ждали поворота Зимы к Лету — и торжествовали.

В полюдье на погост[45] приходили слуги князя, и им отдавали многое из добытого тяжкой работой. Вои уплывали к своим гридням, а смерды, дождавшись прилета первого жаворонка, начинали новый год.

А когда кто-либо умирал, пепел его укладывали вот в такую урну-избушку, приносили и ставили рядом с урной отца, деда, прадеда — и кто сегодня помнил всех лежащих в кургане? Чтили не пепел, а душу-навью, не забывавшую весь.

Костер уносил на небо всех; лишь эти двое лежали сейчас перед волхвом, протянув друг к другу руки со скрюченными пальцами.

Всеслав подошел к убившим себя старикам, склонился над ними и только теперь увидел на тощих шеях темные бугры; всмотревшись, он понял, что это следы от укусов гадюк, и стал озираться. Но змеи если и не покинули еще кладбище, то спрятались между урнами.

Волхв рассердился: Ор и Ратай погибли мучительной смертью потому, что он не дал им отравы, и он опять оказался виновным.

— Иди сюда, — резко повернулся Всеслав к входу, — вынесем их, зверье тут сгрызет, сжечь надо!

Когда они перетаскивали наружу покойников, Соловей недоуменно поглядывал на мальчика: тот делал все уверенно и спокойно, как человек, все повидавший на своем коротком веку.

На свету лица стариков потемнели, но были по-прежнему спокойны,

---

45 место остановки возле весей князя или его людей во время сбора даней

будто смерть для них оказалась такой же привычной, как и сон.

Всадники возникли неожиданно и бесшумно; обернувшись на надоедливого слепня, волхв увидел среди деревьев людей. Первым слез с коня Кулик. Он подошел ближе, строго оглядел мертвецов, потом повернулся к Всеславу.

— Они умерли?

— Да, дали гадюкам укусить кровяные жилы на горле.

— Почему они так сделали?

— Не знаю.

— А думаешь что?

— Думаю, они спрятали Рода и потом убили себя.

Кулик быстро перевел разговор другим византийца, видимо, не все понимали по-русски. Византийцы тихо зашептались; волхв сперва внимательно глядел на незнакомых иноземцев, но вдруг увидел позади них Опенка. Тот с жесткой ухмылкой смотрел на Соловья.

— Ты смерд? — снова начал допрос попин.

Всеслав обнял за плечи сироту, прижал к себе, потом повернул голову от Переемщика к Кулику.

— Нет, не смерд — изгой! Родился в Липовой Гриве, но ее сожгли враги; я скитался.

— Да волхв он! — выкрикнул Опенок.

— Я знаю травы, лечу людей, но я не волхв… Волхованием никогда не занимался. Но Род — *м ой* бог!

— Ваши боги суть бесы! — спокойно возразил попин. — Истинный бог один

— Иисус Христос.

Всеслав промолчал, а Кулик, внимательно оглядевшись вокруг, снова уставился на Соловья.

— Куда же они девали Рода?

— Я искал, но не нашел. Зарыли где-нибудь.

— Там нет? — указал византиец на курган.

— Нет, только урны.

— Зачем же они зарыли идола?

— Боялись, что вы изрубите его!

Попин снова пересказал разговор.

— Ты еще будешь искать своего… их Рода? — показал на трупы Кулик.

— Нет, — твердо ответил Всеслав. — Бога теперь никто не найдет. Потом, когда-нибудь…

— Но если наткнешься на него ты, должен нам сказать, запомни!

Греки, отроки и Опенок уехали, а волхв и мальчик стали собирать дрова для костра. Пока они втащили наверх стариков, пока огонь разгорелся, наступил вечер. Справа от костра из-за леса выплыла холодная луна, но свет ее поблек от погребального пламени.

Огонь гудел и трещал, внутри костра виднелись черные ребра сучьев и веток. Когда загорелись Ор и Ратай, пламя рванулось к небу и стало превращаться в темный дым.

Глубокой ночью волхв и мальчик возвращались в избу. Всеслав, собиравший пепел стариков, обжег руку и все дул на нее, успокаивая боль.

Чайки на острове спали и сердито завозились, закурлыкали, когда

люди проходили возле их гнезд.

Потом мальчик почти неслышно плыл по реке, а Всеслав шагал по дну и прямо перед глазами видел отражающиеся в Клязьме звезды, луку и думал, что сейчас там летят священные души гудошника Ора и пахаря Ратая, сберегших для будущих русичей великого русского бога.

Еще одно неожиданное событие произошло через три дня. Утром, как обычно, Всеслав пошел проверять в лесу перевесы. Осмотрев несколько пустых ловушек, волхв двинулся к дальнему перевесу, куда дичь попадала чаще всего.

Было душно; серые изодранные тучи низко висели над деревьями, и в ожидании дождя птицы и звери притаились. Соловей ходил по лесу безопасно — здесь споров из-за ловищ не было, да и никто ни в Липовой Гриве, ни в Чижах не знал, где кончается этот бор, и потому каждый охотник сам находил себе простор.

Тишина успокоила Всеслава, и поэтому он вздрогнул, внезапно увидев впереди какое-то шевеление. Соловей вложил в тетиву стрелу и дальше пошел медленнее, у опаской вглядываясь в сумрак леса. Скоро он увидел среди деревьев лежащего старого лося. Видимо, его совсем недавно задрали волки — кожа с распоротого брюха была перетянута на спину так, что жуткой белизной сверкали ребра. На запрокинутой голове мертво светился большой остекленевший глаз.

Волхв остановился перед трупом животного, соображая, что тут только что произошло, и неожиданно заметил, как упругая мышца коротко встрепенулась, судорога выдавила из сердца последнюю кровь, и красный ручеек потек на зеленую траву, исцарапанную копытами и когтями.

Нужно было добить неожиданную добычу, но Всеслав все не мог отвести глаз от трепещущего позади белой решетки ребер сердца. Все в сохатом уже стало трупом, и лишь оно, привыкшее беспрерывно биться, оставалось живым внутри изодранного туловища.

Бесчисленные мухи, жадные жучки и поспешные пауки сбегались и слетались из всего леса к добыче. Всеслав замахал луком, отгоняя мошкару, вынул нож, но что-то еще насторожило его, и он оглянулся.

Шагах в десяти отсюда лежал еще один труп; воткнувшись головой в зеленый куст, там распласталась матерая серая волчица с разодранным, как и у лося, брюхом. Подле нее стоял волчонок, чуть покачиваясь на слабых еще лапах, и внимательно смотрел на человека. Он не отбежал от мертвой матери и тогда, когда волхв близко подошел к нему.

Задрав кверху морду, звереныш оскалил редкие зубы, потом повернулся и, тяжело неся большую голову, проковылял ближе к волчице и стал слизывать перемешанное с кровью молоко, текшее по ране. Изредка он фыркал, тряс мордой, стряхивая комаров, и будто забыл о стоящем рядом охотнике.

Смотреть на пожирающего мать зверя было так жутко, что волхв отвел взгляд.

Потом он воротился к лосю, разрезал обескровленное уже горло и стал пластать мясо. Уложив несколько кусков в мешок, Всеслав поднялся на ноги и тут увидел рядом с собой волчонка. Тот теперь не скалился, а только сыто слизывал серым языком на пасти кровь. Он не сопротивлялся, когда волхв, обмотав ему лапы ремнем, перекинул за спину и понес в избу.

Стол был накрыт, и меньший Всеслав, увидев вошедшего Соловья, поднялся с лавки и двинулся к печке.

— Подожди! Смотри, нового жильца к нам принес! — остановил его волхв.

Он скинул с плеча волчонка и развязал его. Зверь оскалил зубы, потом, сильно шатаясь и часто приседая на пути, побрел в горницу, громко стуча когтями по полу.

— Вот, корми теперь и его, пока он в лес не смотрит! — ухмыльнулся Соловей.

Но волчонок сам отыскал блюдце с молоком, поставленное в подпечье для домового, стал громко хлебать.

— Отбери скорей! — рассердился Всеслав. — В другое блюдце налей ему.

Лето шло своим чередом, в избе было спокойно, но волхв спал плохо, да и днем, при работе, все время помнил, что в Чижах стучат плотничьи секиры, а царьградские попы вовсе не намереваются отсюда уходить.

Однажды у Клязьмы он встретил смерда из заречной веси, и тот рассказал, что народ в Чижах ропщет сильнее — византийцы и вирник с отроками находятся там уже восьмую седьмицу, а в каждую из них княжьим людям велено поставлять по семь ведер солоду, по барану или по пол говяжьей туши, деньгами две ногаты. Ежедневно полагалось давать еще по две курицы, сыр, пшена вдосталь и довольствовать коней. Конца же сидению в веси пришельцев не видно. Те же ожесточаются все сильнее — рыщут окрест, Рода ищут; но бог сгинул бесследно. Погоняют плотников и грозят разрушить печи во всех избах.

Через несколько дней после этого разговора Всеслав пошел в Чижи. Настороженно пройдя по улице, он приблизился к стройке. Несколько венцов из свежеотесанных ровных бревен лежало на камнях, трава вокруг них была густо усыпана белой стружкой. Молчаливые плотники в промокших от пота рубахах дробно стучали секирами и тесалами[46].

Неподалеку от храма на бревнах сидели иноземцы. Кулик сразу же заметил волхва, подозвал его.

Всеслав подходил медленно, разбрасывая ременными лаптями стружку; каждый раз, сталкиваясь с византийцами, он остро ощущал на себе их ненависть, и ему казалось, что чернобородые иноверцы вот теперь и приступят к нему со страшным требованием.

— Ты отыскал Рода, волхв? — спросил Кулик.

Стук на стройке прекратился.

— Нет, я больше не искал.

— Почему?

— Я знаю, что не найду; Ор и Ратай Схоронили кумира надежно.

— Значит, они не только от нас, но и от вас, русичей, спрятали Рода?

— Кто-нибудь когда-нибудь найдет!

— Найдет… Найдет через тысячу лет, а к тому времени ваш кумир сгниет совсем! Знаешь, сколько это — тысяча?

— Знаю, я жил в Киеве.

Попы переглянулись, выслушивая Кулика, снова уставились на Всеслава.

---

46 тесало — прообраз рубанка; короткими ударами им тесали дерево; пил в те времена не было

— Давно ты там был?

— Когда Владимир народ крестил, я был!

— Не Владимир — Василий! А почему же ты не крестился?

Всеслав замолчал. Отвечать правду он не страшился, но видел, что сейчас попина это не интересует.

— А в Липовой Гриве есть Род?

— Ты сам знаешь!

— Ну! Почему же его никто не прячет, не зарывает в землю? В твоей веси другие смерды?

Из-за спины Соловья вдруг вышли вирник и Опенок. Вирник повернул к Всеславу красное, потное лицо, оглядел мутными пьяными глазами, потопал дальше и, закряхтев, сел на бревно возле греков. Опенок, державший в руках небольшую корчагу, остановился возле него.

— Этот украл? — нахмурился вирник.

— Нет, — ответил Кулик, — не он… Но… Послушай, волхв, а в своей Гриве ты не будешь прятать Рода? Ты же волхв?

— Я — не буду!

— Но это же твой бог… бес… Ему ты служишь?!

— Я верую в него! Служить же ему не надо! Небу и солнцу ведь не надо служить?!

Царьградцы громко заговорили между собой, будто стали препираться; княжий же вирник вдруг остервенился, заорал на смердов:

— Чего выпучились?! Руби дальше!

Позади волхва зашевелились, стукнула секира, затем другая, и работа пошла дальше.

Всеслав ждал, когда византийцы опять обратятся к нему, но те продолжали спорить; тогда Соловей развернулся и зашагал к улице, обходя храм. Возле прорубленного в клети входа он приостановился, вошел внутрь. Бревенчатые стены окружали землю с еще зеленой травой, сверху на нее пока светило солнце, а на верхних бревнах сидели плотники.

— Поговорил? — обратился один из них, старший, тот, что когда-то спорил с Куликом.

— Послушал, — ответил Всеслав.

— Слышь-ка, Соловей! — окликнули его с другой стены. — Ты-то теперь что делать будешь?! С нами что будет?!

— Достроите храм ихний, велят от наших богов отрекаться и другим кланяться. Имя каждому новое дадут, нерусское.

— Это-то хорошо, значит, у меня баба как новая станет, — плотник засмеялся, но все другие смерды молчали, изредка постукивая по дереву секирами, — видимо, христиане и вирник снаружи следили за ними.

— Куда же Ор с Ратаем Рода-то схоронили?! — наклонился внутрь клети старший плотник. — Дряхлые ведь оба, не могли далеко уволочь! Ты их на кладбище нашел — они уже мертвые были?

— Да.

— Ох-те, горе-то. Они вон какое дело сотворили, а мы тут стучим, стараемся.

— Ты помолчи! Еще не научился делать хорошо, а уже хочешь делать плохо!

— Горе вы свое поднимаете, — медленно проговорил Всеслав, — жилище для чужих богов из чужих земель.

— Ха! — перебил его молодой смерд. — Мы-то строим, а потом —

вдруг молния! Прилетел Сварожич — и… — Он осекся и уставился на что-то, появившееся позади Всеслава. Волхв обернулся: в полупостроенный храм без крыши медленно входил Кулик. Он остановился в проеме, строго оглядел плотников, волхва.

Уходя из веси, Всеслав долго слышал позади стук секир. Кулик же, вернувшись к своим, подозвал Опенка.

— Он волхв?

— Нет… Да! — поправился Переемщик.

— Где Род, он знает?

— Я видел, он накануне с Ором и Ратаем разговаривал…

— О чем?

— Не слышал, видел только.

Попин отошел, сел на бревна. Две бабы из веси принесли в миске вареное мясо, корчагу пива и несколько хлебов, разложили еду на холстине. Пьяный вирник ткнулся грязной рукой в миску, вытащил кусок мяса. Кулик поморщился, однако промолчал. Потом он проговорил что-то византийцам, вытер о холст руки, повернулся к вирнику.

— Ты русский, объясни нам: неужели они тут не понимают, что Иисус выше всех богов?! Сколько я их спрашивал, ни один не может рассказать о Велесе, Перуне, Макоши, других бесах. Я им о великом подвиге Христа говорю, но они ясных истин не понимают, держатся за деревянных идолов или

— вон, показывают, солнце светит!

— Любят! — хмыкнул вирник.

— Но разум-то у них есть или нету?!

— Это народ лесной, моленья у ручья творят — дождя от него ищут. Им что хочешь говори — не разумеют. У них ума нет, объяснений и уговоров не поймут! Бить их надо, да посильнее, — и все!

Вирник обернулся, взял из рук Опенка полную кружку и, громко чмокая, выпил.

Кулик обратился к своим:

— Этот пьяный осел опять говорит, что мы поступаем тут неверно. Смердам ничего объяснить нельзя, бесполезно. Разум их еще не развит, и мир они воспринимают лишь чувствами. Добро и зло понимают лишь на самом животном уровне: холодно-жарко, больно-приятно… Это стадо без пастырей!

— Не надо слишком доверять этому воину, — произнес пожилой попин, — он тоже русич. Но он и княжий дружинник, поэтому ему выгодно верить в истину христианства. В душе же он, может быть, еще больший язычник, чем все смерды.

— Пусть он язычник и лжехристианин, но говорит он верно. Мы объясняем и объясняем этим полулюдям свет истины, но они не понимают ее. Сколько уже дней и ночей я говорю им о величии и могуществе Христа, а до сих пор лишь вон тот мерзавец делает вид, что воспринял новую веру, — мотнул головой в сторону Опенка Кулик.

— Он плюнул на Рода, плюнет и на Христа.

— Да знаю я это — и плохо, конечно, что первым христианство воспринял такой человек. Но, повторяю, мы поступаем неверно, так долго уговаривая язычников. Епископ Михаил и князь Василий в Киеве за один день обратили в веру тысячи; мы же этих зверей все убеждаем, но слова наши не проникают в их тьму.

— Значит, надо остановиться и избрать иной путь, — заговорил

третий попин. — Я думаю, сейчас нужно во что бы то ни стало отыскать украденного и скрытого ими кумира. Если не найдем, плохо будет. Храм святой воздвигаем, но двоеверие сохранится. Из-за страха они станут приходить сюда и покорно слушать наши проповеди, а потом пойдут в свои тайные кумирни к идолам посмеются над нашими словами.

— Правильно это, но где искать Рода?

— Волхва их следует еще раз выпытать; старики с ним говорили, он при нас извлек их из кладбища для языческого костра…

— Но он говорит, что волхвом себя не считает.

— Раз его смерды почитают за волхва, верят ему — значит, и мы можем…

— Никому они не верят, даже своим бесам!

— Зачем же тогда прятали Рода?! Нет, этот волхв особый тут человек… В Киеве был, по земле русской долго ходил. Вот если бы вместо тупого Опенка мы обратили его, все пошло бы скорее!

Услышав свое имя, Опенок поспешно подошел к византийца.

— Чего надо?

— Мои братья хвалят тебя, — успокоил его Кулик. — Ты помнишь молитву, которой я научил тебя?

Переемщик нахмурился, покосился на вирника.

— Знаю. Говорить надо так: «Верую во единого бога отца вседержителя, творца небу и земли… Да не прельстят меня нецыи от еретик!» — он показал рукой за спину, где опять остановили работу плотники.

— Правильно, ты на верном пути к истине. Постой! Тот лесной человек действительно волхв?

— Верно так. Он и в огонь обращается, и в змею, — зашептал Переемщик, оглянувшись на храм. — Он и был змеей-гадюкой, что Ора и Ратая изгубила! А сперва подговорил их Рода схоронить! Убьете Соловья — эти, другие, сразу к вам пойдут. Увидят, что Род не вступился за него!

— Наш Христос учит любви к ближнему…

— Тогда будете тут сидеть вечно!

— …Но мы можем судить его, — спокойно продолжил Кулик, — он был в дальних землях, видел Киев, значит, человек разумный. Но мы всенародно посрамим его, покажем, что бесовская вера его и вон их — темна и бессмысленна. Созовем всех смердов из здешних весей и на их глазах разоблачим волхва-колдуна…

Видимо, только сейчас набредший на эту мысль попин стал пересказывать ее единоверцам. Опенок покорно уставился на них, а вирник вдруг выругался и уже тише проговорил: «Снова болтать собираются, дураки дурацкие!»

Разговор с попином скоро почти забылся, но Всеслав уже не сомневался, что византийцы с крещением приступят к нему первому, ибо считают его волхвом, значит, таким же попином при Роде, как они при своем Христе.

Его все подмывало уйти отсюда, переждать, пока иноверца отбудут восвояси; но было ясно, что бежать ему уже некуда, если он хочет и впредь жить вместе с людьми.

В избе беспокойства прибавилось; едва Всеслав переступил порог, он

увидел, что в светце горят три лучины[47]. Волхв поспешно загасил одну, осмотрелся.

На полу, рядом с печкой, на медвежьей шкуре, подтащенной туда, спали, прижавшись друг к другу, мальчик и волк. Зверь первым почуял человека, поднял голову и блеснул в полутьме клыками.

Вырастал волчонок быстро, он стал резвее, подвижнее — часто неожиданно выскакивал из-под лавки и хватал за ноги Всеслава или мальчика

— охотился так. Теперь его выпускали во двор, но он не убегал в лес, хотя выходил порой за ворота, подолгу смотрел на глухую темную чащу и изредка неумело пытался выть.

Сейчас, обнюхав Всеслава, он вернулся на шкуру и снова пристроился к спящему ребенку. Сидя на лавке, Соловей устало следил за ним, думал: «Почему он родился волком, а я человеком? Мне посчастливилось или так сделано по воле Рода?! Могло же быть иначе — я родился бы зверем, а ты человеком!»

В незадвинутые окна ворвался ветер, задергалось пламя лучины, проснулся и испуганно огляделся младший Всеслав.

— Ложись на полати, — тихо сказал Волхв, пошел на крыльцо.

На его избу надвигалась гроза. Слева, от невидимой отсюда реки, стремительно неслись по темному небу тучи. Они цеплялись за верхушки деревьев, раскачивая их, и потом останавливались над лесом. Тьма окружала все вокруг — ни звезд, ни луны не было видно. В небесном мраке глухо заворчал и тут же оглушительно треснул гром; Перунова стрела вонзилась где-то рядом в землю…

Волхв поспешно вернулся, торопливо перевернул вверх дном все миски, накрыл ушаты и корчаги, задвинул ставни[48]. В избе стало тихо, но тут же снаружи прогрохотал гром и будто толкнул крышу жилища. Соловей замер; долго было тихо, затем отчетливо зашумел дождь, и его ровный шорох быстро окутал избу.

Всеслав разделся; проходя к светцу гасить лучину, он заметил, что мальчик улыбается чему-то во сне, и приостановился. Из дальних далей памяти выплыло воспоминание о детских днях, когда он беспечно и покойно лежал в отчем доме, а отец негромко напевал:

Ходит Сонко по улице, носит спанье в рукавице, вступи же, Сонко, до нас…

И он в ласковой дреме уносился в удивительные сны.

Дождь легонько стучал по крыше; его шорох наполнял лес и скоро убаюкал волхва. Но проспал он недолго и пробудился от страха. Ему привиделось, что он, лежа на полати, увидел над собой звездное черное небо. Матица, потолок, крыша с князьком пропали[49] — над родными стенами поднималась лишь бескрайняя бездна. Тяжкий, густой холод влетал оттуда в избу и остужал ее.

С трудом придя в себя от жуткого сновидения, Всеслав потом долго

---

47 по русской примете, три горящие одновременно лучины (свечи) предвещают покойника

48 по древнерусскому поверью, злые духи, гонимые громом и молнией, стараются укрыться в сосудах, поспешно влетают в любое отверстие

49 видение дома без князька предвещало огромное несчастье

никак не мог уснуть. Он лежал неподвижно с открытыми глазами и чего-то ждал. Но в избе было тихо — ни домовой, ни сверчок этой ночью не шумели.

5

Знамение оправдалось скоро. Едва Всеслав и Слава поднялись утром и мальчик ушел к реке проверять ловушки-морды, в дверь резко постучали, и она распахнулась. На пороге оказался пьяный Опенок; он вошел в избу, ухмыляясь, протопал к столу. Но тут к нему метнулся волчонок. Незваный гость при виде зверя сперва ошалело замер, но тут же опять криво заулыбался, будто обрадовался увиденному.

К волхву его прислали христиане. Напрямик ему ничего не говорили, но Доброслав и сам догадывался, что первым, за кого возьмутся иноверцы, будет вот этот белоголовый изгой. Переемщик ненавидел его, но ни себе, ни другим он не смог бы объяснить свою злобу. Знал Опенок лишь одно: никогда еще его жизнь не наполнялась так сильно горем, как нынешней весной, — смерть ворвалась в его избу и пощадила лишь его одного. Он не умер, но уже и не жил. Страдания его постепенно переменились в ненависть. После оплевания кумира он всю ночь трепетал, боялся кары, но взошло, как всегда, солнце, настал новый день — и ничего не произошло. Конечно, он не верил, что Рода нет, но понял — бог отступился от него, и отныне возненавидел и кумира. Все вокруг Опенка пустело — его обходили смерды, теперь покинул и Род. Доброслав стал жить одиноко, Но попин не оставлял богоотступника; он подоспел вовремя, рассказал об ином кумире, Христе, научил жить спокойнее. Византиец наставлял его истине и закону, слова его Переемщик, которому при крещении поменяли имя на Прокопий, запоминал хорошо, и они все сильнее вызывали жалось к самому себе за безвинные страдания; он твердо уверовал, что горе подняло его над другими смердами, и стал презирать их. Попин все чаще называл его «страстотерпец», и слова свои все время подкладывал так, чтобы подальше развести первого вновь обращенного смерда-христианина и остальную весь.

Теперь византийцы направили его сюда, и Опенок твердо сознавал, что ему нужно обличить твердого в прежней вере волхва-изгоя.

— С волком в избе живешь, — заговорил он, сев к столу, — сам вурдалак[50], так вот еще одного… зверя пригрел, оборотень!

Всеслав смолчал, он понимал, что Переемщик неспроста приволокся спозаранку, но еще не понимал, чего опасный гость хочет.

— Ладно, молчи, молчи… Соловушка. Отпелся! Скоро все тут переменится, только ты вон с волком старые песни выть будешь — пока не подохнешь, а подохнешь, тебе глаза-то закрыть некому будет. Сам волком живешь!

Волчонок, стоявший возле печки, снова оскалился, будто понял слова пришельца. Переемщик долго разглядывал зверя, потом тихо выговорил: «Не оборачивается в человека, таится при мне! А я уж и видел — белобрысый, молодой еще!»

Он положил на руки голову, закрыл глаза, задремал, но скоро

---

50 вурдалак (волкодлак) — оборотень, принимающий облик волков; волкодлак, по поверью, пожирает солнце и луну; волко-длак, то есть волк и длак — звериная шкура

встрепенулся, выглядел волхва, попросил:

— Меду дай, все же гость я!

Всеслав налил ковш, накрыл ломтем хлеба, поставил перед незваным пришельцем.

— Я тебе верно говорю, — выпил Переемщик, — одиноко живешь, помрешь — глаза не закроют, да и на кладбище некому отвезти, огонь зажечь…

— Сам-то ты тоже не среди людей… — не удержался Соловей.

— Я человек другой. У меня умерли все, поэтому один остался. Я теперь Прокопий, от главного бога такое имя получил. Ты ведь по своей воле так живешь — во тьме, а я по-новому. Меня византийский Христос теперь любит! Я страстотерпец!

— Совесть у тебя скорчилась, Вот что!

— Не ври! Раз Христос меня любит, я буду жить светло и ясно, и ни в чем виноват не буду! Если какую вину сделаю, Христос меня сразу простит! Это тебе не с деревянным Родом обниматься!

— Как же простит?! Ты человека убьешь, потом покаешься, и Христос все забудет?! Да у такого бога, значит, тоже ни совести, ни души… Он тогда тать и изверг!

— Помолчи, а то снова распелся! Сказано в законе, что за одного раскаявшегося грешника трех святых дают, вот как! Христос велик!

— Вона как! Бога любишь и славишь, а людей ненавидишь! Разве могут быть боги, чтобы спокойно смотрели, как ты души губить станешь?!

— Ох и дурак же ты, хоть и волхв! Попин говорил мне слова Христа, что, если кто погубит душу свою ради бога и его поучений, тот сохранит эту душу в жизни вечной!

— Значит, ты можешь губить чужие души, чтобы свою душу сделать вечной?!

— Могу! Ихний бог принял меня, и теперь я все могу, понял?! Я ведь живу по новым законам! Ты в грязи остался, а я на свет вышел!

— И так быстро от грязи обсох?!

Опенок отодвинул пустой ковшик, снова посмотрел на волка, ухмыльнулся и встал. Пошатываясь, он прошел к двери, на пороге обернулся.

— Готовься, оборотень! Не забывай меня, скоро снова увидишь!

Весь день Всеслав не мог успокоиться, хотя хлопот было много — подошли зеленые святки[51], и нужно собирать и сушить последние весенние травы.

Доброслав-Опенок-Прокопий довольным возвращался к византийцам; он знал, что рассказать о гордом волхве — человек и волк не могут жить в одной избе. Изгой сам подставил лоб под удар.

Проходили дни, но тяжелое предчувствие не спадало с души Соловья. Как и все последние лета, волхв каждое утро брал туес, мешки и уходил на травосбор, но часто ему начинало казаться, что делает он это напрасно — жизнь в весях менялась, и греки могли в один миг отгородить его от смердов, запретить лечение их. И тогда его снадобья и отвары никому не будут нужны. Но такое выглядело нелепым — разве могли запретить ему

51 зеленые святки длились с 25 мая по 25 июня

делать добро только потому, что он поклоняется иному кумиру.

В тот день Всеслав обошел издавна знакомые лесные места, вышел к реке. Лягушки в Клязьме молчали — стало уже очень жарко, лишь вспугнутые человеком, они испуганно прыгали в воду, всплывали и сердито глядели ему вслед.

Большой весенней воды в этом году не было, и птичий островок выше обычного поднимался из реки. Кусты так густо зеленели, между ними бегали чайки и серо-коричневые птенцы. Им повезло — на сей раз река не смыла их и не поглотила в холодной глубине.

Возвращение к избе было коротким — Всеслав пошел от Клязьмы напрямик, но еще издали он насторожился. Обычно в это время младший Всеслав готовил еду и из окна струился дым. Теперь же изба стояла мертво. В нескольких шагах от нее волхву показалось, что его окликнули из кустов, он стал озираться, но тут от избы навстречу ему двинулись два отрока. Они приближались спокойно, вяло переговариваясь между собой.

Так же беззлобно один из них проговорил, когда они подошли:

— Идем, попин за тобой послал!

— Зачем? — вздрогнул Всеслав.

— Не знаю… и он не знает.

Второй отрок, старший годами, с любопытством рассматривал Соловья, но молчал.

— Пусть! Ладно! Пойдем сейчас, только травы в избу снесу.

Он угостил своих сторожей медом; пока они пили, разложил травы — и притаился в сенях. Всеслав не понимал, куда девался мальчик: успел ли он схорониться от врагов, или его увели прежде и станут выспрашивать отдельно.

Вернувшись в избу, волхв похолодел. Оба отрока, бледные и онемевшие, не сводили глаз с вышедшего к ним из-за печки волка.

— Иди, иди, людей не пугай! — вытолкнул зверя в сени Всеслав, подошел к столу.

— Кто это? — опомнился отрок.

— Волчонок, в лесу щенком подобрал.

— Убить надо!

Волхв не ответил; неторопливо поел, и они двинулись в путь. Отошли от избы перестрела на два, как вдруг жутко завыл позади волк. Недавнее спокойствие мигом вылетело из сердца Соловья, и он остро ощутил горечь подошедшей вплотную беды. Ожесточились и лица княжьих слуг. Зашагали поспешнее — и вновь Всеславу послышался шепот за спиной, но он побоялся обернуться, а только махнул несколько раз ладонями, прощаясь с сиротой, и тут же вспомнил, что вот так же расставалась с ним навсегда мать. У него внезапно помутилось в глазах, и он стал растирать рукой грудь перед защемившим сердцем.

— Сердце болит? — участливо спросил старший отрок.

— Зажало.

— Как же ты других лечишь, а сам хворый?! Знаешь, наверно, чем сердце-то лечат?

— Для себя спрашиваешь? Огнецветку пей, каждый день пей — до зимы.

Весь остальной путь прошли молча; отроки повели пленника не бродом, а к мосту, длинной дорогой, и за Клязьму вышли, когда стало понемногу смеркаться. Недавний страх во Всеславе понемногу

превратился в отрешенность; он шагал по тропинке впереди отроков и будто забыл, куда и зачем его ведут, словно там не ожидала его большая неминучая опасность.

Сколько уже лет и зим проходил волхв по этим привычным местам, каждое дерево и каждая ямка на тропке были ему ведомы, но сегодня он пристальнее всегдашнего смотрел на них, будто понимал, что в последний раз шагает по родной земле.

На пале, где еще недавно чадили поваленные деревья, медленно брел за сохой одинокий оратай. Его худая лошадь низко опустила голову, будто принюхивалась к обугленной земле. Увидев волхва и вооруженных отроков, смерд остановился посреди своей рольи и долго всматривался в проходящих.

Когда вышли на околицу Чижей, Всеслав увидел церковь. Сделанная из чистых бревен, она сверкала белизной среди черных от старости изб смердов. Сруб и маковка храма высоко поднимались к небу, а на самой вершине светился медный крест.

Землю вокруг церкви тщательно подмели, и собранные стружки и щепки горкой поднимались в стороне.

Дверь в храм была распахнута; волхв увидел в ее чистом нутре трех плотников с поднятыми вверх лицами, чего-то рассматривавших на потолке.

Позади новой постройки, там, где недавно лежали бревна, стоял небольшой, врытый в землю стол. Сейчас возле него сидел пьяный вирник и зло стучал костью о миску, выбивая мозг. Вирник долго не обращал внимания на подошедших волхва и отроков, потом отбросил кость, большими глотками выпил кружку меду и невидящими глазами уставился на Всеслава.

— Попался, вурдалак! — промычал он, жирным пальцем ткнул в сторону отрока. — Позови этих дураков!

Ждать пришлось долго. Соловей переступал гудевшими от усталости ногами, то закрывал глаза, то смотрел на дремлющего вирника, окруженного роем мух.

Христиане, как и всегда были одеты в свои черные одежды; Кулик оттолкнул вирника, выплеснул из кружки на землю остатки меда, подождал, пока рядом устроятся остальные царьградца, и грозно вперился во Всеслава.

— Послушай, волхв! — очень громко проговорил он. — Мы твой суд! Судьи божьим повелением! Понял? Пока можешь сесть.

Соловей осмотрелся, опустился на подметенную землю. Позади него стали собираться смерды. Мужики и бабы, согнанные сюда отроками, виновато поглядывали на волхва, безмолвно замирали у стены церкви.

Попин поднялся.

— Мы божьим повелением суд и пришли сюда, чтобы судить этого оборотня за безмерные его грехи! Сперва говори, бес, куда ты спрятал Рода?! Нам уже ведомо, что это ты схоронил кумира и убил Ора и Ратая, обернувшись ядовитой гадюкой. Все видели, как ты сжигал стариков, чтобы упрятать поганые свои следы. Знаем мы теперь также, что вместе с тобой в избе живет волк! Вурдалак! Скажите, русичи, разве может человек жить рядом с лютым волком, если этот человек не оборотень?!

Кулик выжидательно остановился, однако весь безмолвствовала. Лишь дремавший вирник встрепенулся и стал шарить рукой по столу,

отыскивая ковшик.

— Ну ладно, о волке мы после поговорим. Сегодня же ты ответишь на один вопрос — где спрятан Род? Встань и говори!

Всеслав поднялся, долго глядел на равнодушных царьградцев, потом обернулся: за спиной его толпились плотники, поднявшие иноверческий храм.

— Не молчи! — выкрикнул Кулик.

— Я не крал Рода и не знаю, где он теперь! — волхв заговорил глухим, чужим голосом, потом, кашлянув, тише добавил: — Я сам долго искал нашего кумира, но не нашел.

Греки коротки пошептались, и тут же Кулик заговорил снова:

— Мы не верим тебе. Ты волхв тут, исчез твой кумир, а ты говоришь, что не знаешь, где он! Может быть, знает тот?! — византиец обвел взглядом народ, нашел Опенка, обратился к нему: — Скажи, Прокопий, ты видел волка, живущего вместе с ним?!

Смерды невнятно зашумели; к столу сбоку приблизился Переемщик, насмешливо посмотрел на соплеменников.

— Я недавно был у него в избе и видел, как к нему ласкался волк! Сколько на белом свете живу, слыхом не слыхивал, чтобы такой зверь полюбил человека! Упырь он, оборотень! Вурдалаки они оба!

— Отвечай ты! — велел попин.

— Волчонок это, щенком в лесу нашел. Волчицу лось порвал, я его и подобрал…

— Смерды! — перебил Кулик. — Было ли на земле такое, чтобы человек пригрел волка?!

— Я же говорю — нет! Потому не волк он!

Всеслав молчал; он не знал, что отвечать иноземцам, черными воронами сидевшим за столом, как образумить вновь переменившего имя Опенка, мстившего за неведомые обиды. Волхв лишь до тоскливой боли в душе ощущал, что бесповоротная напасть утаскивает его куда-то, что вся прежняя жизнь уже оторвалась от него и отдаляется. Византийцы тут творят свое дело, и он, волхв, нужен им для расправы, и отныне он оказался в страшном одиночестве: он станет кричать — и никто не услышит его, он будет спорить

— и никто не внемлет его словам. Потом они убьют его — и никто не защитит его жизнь.

Христиане снова посовещались.

— Значит, тебе нечего сказать?! — глянул на волхва Кулик и сразу же повернулся к вирнику. Тот склонил набок голову, слушая византийца, потом поманил отрока.

— Отведите его в сухой колодец, пускай там сидит!

Воин, которому Всеслав говорил, как надо лечить сердце, подозвал еще двоих отроков, и вместе с пленником они зашагали к колодцу. Следом потянулись смерды, но их нагнали другие дружинники и, грозя сулицами, остановили.

Четыре венца бревен, поднимающиеся над землей, давно рассохлись. Сухая желтая трава клочками окружала сруб.

Тут, на краю веси, вечер показался немного светлее; над дорогой, уходящей в лес, недвижимо растекались дымчатые сумерки. Мелкая дневная пыль опускалась на землю, воздух очищался, и яснее делались раскаленное на краю света небо, догорающие последние облака.

— На хоть хлеба, — сказал незнакомый отрок, протягивая Всеславу толстую горбушку, — больше нету! Полезай, мы поможем.

Дружинники связали пояса, но они оказались коротки. Тогда один из отроков сбегал к избам, принес лыковую веревку, конец ее опустили в колодец, и волхв полез на черное дно. Наверху скреблась о дерево веревка, а небо темнело и делалось все меньше и меньше. Внизу колодца оказалось сухо, и измученный Соловей рухнул на землю, прислонился к срубу и притих.

Отроки утянули веревку, чего-то крикнули ему, но волхв не понял, потому что слова раздробились о стены колодца. Однако вслед за этим вои кинули овчинный полушубок; Всеслав разложил его, лег на спину. Над ним в дыре колодца виднелась одинокая синяя звезда.

Всю ночь волхв то забывался в вязкой тревожной дреме, то выплывал из сна и тогда подолгу лежал с открытыми глазами, хрипло дыша прогнившим вонючим воздухом. Мрак окружал его, и только далеко вверху, во тьме, было вырезано синее окошко, заполненное мерцающими звездами. Они крутились на небе и стремительно летели сюда, и Соловью показалось, что если бы он поднялся из этого подземелья, то оказался бы среди звезд. А проснувшись еще раз, Всеслав радостно заволновался — ему показалось, что он снова видит тот свой недавний сон, когда, лежа в избе на полатях, узрел небо позади пропавшего потолка и крыши. На миг вспыхнула надежда, что скоро наступит пробуждение и зло рассеется, минует его.

Понемногу волхв стал замечать, как переменяется небо; холодная чернота начала постепенно разжижаться, поблекла, и вдруг, когда еще и не рассвело, на край сруба упали золотые солнечные лучи. Узник глядел на них, но ощущал, что не смог до конца пробудиться — будто что-то осталось в темном забытьи ушедшей ночи и теперь в мир возвратится только его часть.

Внезапно рядом с ним, но в глубине земли кто-то дробно застучал. Волхв стал вслушиваться, пытаясь угадать причину шума. Лишь когда он увидел, как наверху, над срубом, клубами поплыла пыль, понял, что мимо колодца бредет стадо. Топот очень долго удалялся от подземелья, потом наступила прежняя тишина, и тогда Соловей сделал попытку выкарабкаться наверх. Цепляясь за трещины в рассохшихся бревнах, он поднялся на несколько локтей, но сорвался вниз. Сразу же наверху показалась голова отрока, он погрозил узнику луком, гулко крикнул:

— Тихо сиди, убью!

Всеслав лег на полушубок. Теперь боль в душе его быстро нарастала. Как все-таки жутко все произошло! Род и Сварожич спасли его от беды в Киеве и привели в отчую землю, пятнадцать лет прожил он в спокое среди соплеменников. Но вот Христос и его слуги настигли его и тут, обрушились на этот край Руси, отыскали его, полуволхва-изгоя, чтобы показать не нем кару за упорство в вере. Две веси смердов живут тут с незапамятных времен; кто-то из них убил первого пришедшего сюда попина. Меньше всех других хоть в чем-то виновен он, Всеслав, живший бобылем в лесной глуши. Но иноверца нашли его, приволокли сюда и бросили в подземелье. Почему для казни избрали его?! За что?! Он не прятал Рода, не оскорблял византийцев. Ведь он даже пытался разыскать кумира, значит, делал то же, что и иноверцы. Знают же они, что он не волхв; как обвинить его за то, что он излечивал людей?! Но он и рассказывал смердам о событиях в Киеве, и Опенок, конечно, обо всем

донес царьградцам. Потому они и решили начать крушить русскую веру именно с него. Но была ли в нем вера такая же, как в Пепеле, Милонеге? Сможет ли он перед страшным лицом смерти сказать, что беспредельно верит в Рода, Ладу, Лелю, Макошь, Велеса — сочинителя песен и сказок?! Да, да, они его боги! Но все же не деревянным идолам он поклонялся, не врытые в землю кумиры правили его жизнью. Младенцем, едва открыв глаза, он увидел свой мир — Землю, Солнце, Небо, Огонь, Реку, — и старшие люди сказали, что это боги. Все, до самого неба простирающееся перед его очами, было истинными кумирами. Конечно, существовали дымные кумирни, он бросал в костер рыбу и жито, с ним в избе копошился по ночам добрый домовой-лизун. Но главными богами были его Земля и его Солнце.

Однако вот подступили иноверцы и потребовали оплевать это, отторгнуть из сердца, забыть и принять взамен их не ведомого никому Христа, родившегося, жившего и умершего в чужих, далеких отсюда землях. Почему пришельцы хотят, чтобы он, Всеслав, все другие народы Руси отреклись от своих богов?! Ведь боги жили с ними в ненастьях и горе, праздниках и радости; как забыть и прогнать их?! Или нужно кумиров прятать, а иноверцам лгать?!

Куда-то ведь старики схоронили Рода! И зачем убили себя?! Боялись, что муками дознают их тайну; а может, не хотели смотреть, как рушат русскую веру?! И как сможет устоять он сам, когда палачи будут приближаться к нему?!

— Ну-ка вылезай, быстро! — оглушил Всеслава выкрик.

Соловей стал надевать полушубок, но тут же одумался, скинул его и, ухватившись за веревку, полез наверх. Едва он перешагнул через наружные венцы и остановился, зажмурившись от яркого солнца, отроки молча связали ему, но не туго, руки, повели к улице.

Здесь было еще пустынно; из окон выплывал и сразу же таял в чистом воздухе дым, бродили вдоль изгородей куры. Одна чего-то испугалась и, квохча и взмахивая крыльями, долго бежала впереди пленника и его сторожей.

Когда завернули за церковь, стало ясно, почему в веси безлюдно, — смерды из Чижей и, как сразу же увидел Всеслав, из Липовой Гривы плотной толпой стояли у стены храма.

Византийцы молча сидели за столом. Отроки остановили перед ними волхва, отошли в сторону.

Кулик долго рассматривал Всеслава, потом поднялся, подошел к пленнику. «Идем!» — позвал он, двинулся к храму. Они шагали среди расступавшихся смердов, и волхв испытующе глядел в их лица. Сперва ему показалось, что он видит в глазах соплеменников сострадание, сочувствие, но чем дольше шел, тем яснее понимал, что на него смотрят с напряженным вопросом: русичи пытались по его взгляду угадать, как он готов к испытанию. Он оказался первым, кому предстояло пройти искушение и, может быть, казнь, ему надлежало сделать главный выбор, и люди ждали его слов и действий. Они совокупили в нем свои надежды и веру, и впредь ему предстояло говорить и делать не только за себя, но и за всех единоверцев, за Ора и Ратая, спрятавших Рода; в нем, волхве, соединилось прошлое и будущее этих людей, и отныне для него пути назад не было. Но путь вперед вел только к гибельному сражению с византийцами, и Всеслав с ожесточением осознавал, что только его

смерть сохранит ему право на жизнь в душах и в памяти русичей.

Волхв шагал сквозь толпу и с каждым шагом бесповоротно понимал, что отныне он совершенно одинок: две могучие силы, две веры приготовились сшибиться друг с другом, и удариться они могли только на Всеславе, так или иначе уничтожив его.

Короткий путь проделал волхв от места судилища до церкви, но за это время горькая решимость окончательно утвердилась в нем. Остро ощутив неизбежность подвига, Всеслав будто ожил, в душе его посветлело и прояснилось главное — он должен победить христиан. Не отводить беду, а биться — неужели Род и Сварожич не помогут ему?!

— Зайди! — громче повторил Кулик.

Волхв и попин стояли перед распахнутыми дверями храма, откуда духовито пахло разогретой сосновой смолой. Проскрипели под их ногами доски пола, и русич и византиец замерли в середине церкви. Сверху, с потолка, душистый воздух рассекали лучи солнца; они упирались золотисто-белыми пятнами в новый пол, светились, и поэтому казалось, что храм густо заполнен солнцем.

Кулик потянул волхва за связанные руки, провел к передней стене. На ней золотом горела единственная пока икона. Молодой Христос всепонимающим взором пробивался к душе Всеслава; глаза чужого бога испытующе и сострадательно глядели на русича. Он, тот бог, знал о нем все, ведал прошлое и прозревал будущее; он знал все — и поэтому сострадал о иноплеменном ему человеке. И волхв не сводил взора с лица чужеземного кумира. Ему показалось, что глаза Христа сейчас оживут. Но ничего не менялось, и понемногу оцепенение сошло с сердца Соловья. Он отвернулся, стал осматривать постройку, заметил сложенные в углу плотницкие секиры, поблескивающие ледяным холодом.

— Не глумись, волхв, — строго произнес попин. — Гляди перед собой — вот истинный бог, и ему поклоняются люди всей земли!

— Нет во мне зла на твоего бога! Разве ты не понимаешь этого?! Вы любите своего Христа, ладно! Мы кланяемся своему Роду. Пусть так будет! Я же не пришел на твою землю с оружием и не загоняю византийцев в реку, не меняю их имен!

— Наш бог выше, потому мы и несем его миру!

— Ты сам это порешил?

— Это ведомо каждому!

— Однако мы здесь не знаем этого! Пойми, чужеземец, разве могут люди, извечно поклонявшиеся одним богам, вдруг перевернуться в себе и принять иных кумиров?!

— Так надо!

— Тебе так надо, князьям и грекам-христианам надо, но нам-то зачем?!

— И тебе это надо! Вот он, — Кулик повернулся к Христу, — он пришел на всю нашу землю, чтобы спасти людей, он великие страдания принял за безмерные грехи…

— Во мне нет грехов перед твоим богом, и ему не нужно было страдать за меня. Поэтому и я не обязан ему ни в чем.

— Это потому, что ты не знаешь, что есть грех, а что жизнь истинная, святая!

— Кто живет по совести, тот и безгрешен. Душа же у нас и совесть с пращурных лет есть, по их воле и живем. Потому-то ваш бог нам и не нужен, хороший он или нехороший… Лишний он на нашей земле…

— Ты слеп и неразумен! Ведь душа человека, как и тело его, сотворены богом!

— Опомнись, пришелец! Как же это моя душа сотворена чужим, иноземным богом?! Неужто заморский бог русские души творил?! Душа человека и совесть его только на своей земле и могут родиться, да и жить только на ней способны… Со своей земли ушел, от отчих могил ушел — и все, души лишился!

— Как тьма укутала разум твой! Подумай! Ты, изгой, до белой головы скитался по городам и весям, потому что ворог в младенчестве твоем разорил дом твой… Оттого и горе тебе… Но с именем Христа соединятся все края Руси, великая держава станет, и ни один враг не дерзнет вас тронуть. И вы, и дети ваши, и все будущие жители ваших земель жить впредь будут безопасно. Все племена и роды соединятся, и могучее величие придет к Руси

— от Чуди до Дикого поля. А сейчас вы как смоковница у дороги — рубят и обрывают все…

— Но зачем же соединяться русским людям под рукою твоего бога?! Ежели печетесь о величии народа нашего, мощи его, тогда лучше соединять и укреплять его вокруг нашего бога… Я же говорю тебе: чтобы сплотиться возле твоего бога, надо твердо верить, что он выше бога нашего! Но вот я и все они, — показал Всеслав на стену храма, за которой его ждали смерды и суд, — чтут своего… моего бога и не хотят изменять ему… Если бы всем было ясно, что твой бог выше и лучше Рода, не пришлось бы вам вместе с Христовым учением дружину с копьями и мечами водить!

Кулик резко шагнул к выходу, но одумался, остановился, потом медленно прошелся по церкви; было тихо, и оттого особенно оглушительно проскрипели половицы храма.

— Что-то ваш бог до сих пор не соединил ваши земли, и разве можешь ты теперь сказать, когда он их соединит? А мы уже соединяем!

— Дай срок — и мы соединимся!

— Пока вы державу построите, враги вас изгонят с этой земли либо в холопов навеки превратят. Ибо без нас не поймете вы, что кроме бога нужно учение, закон. А какой у вас закон?! Ничего нет!

— Не лги на истину!.. Мы свободны в душах наших — вот наш закон! Никто со стороны не учил нас совести и потому не волен над ней. Проживу я честно и по совести, душа моя и уйдет в ирье… У меня же моя душа, а у тебя чужая — ты ее по учению вашему делал… А вдруг ты это учение не так понял и душу свою не так сложил?!

— Такому не бывать! Потому что наше учение в священные книги записано, все истинное в тех книгах рассказано, ибо от бога книги те… И люди земли твоей в каждой избе скоро такие книги держать станут, в каждый день жизни своей в них всякое откровение находить! Сейчас же что творите тут?! Песни у ручья поете, малым при лучине сказки говорите… Грамоте не ведаете, книг не имеете[52], старики древние ребят

---

52 Это не так. В одной из русских летописей XV века говорится: «А грамота русская явилася… в Корсуне русину, от нея же научися философ Константин (Кирилл)». Корсунские книги были написаны не только русскими буквами, но и на древнерусском языке. Константин (Кирилл) составил кириллицу. Глаголица же возникла значительно раньше. Она появилась в результате длительного процесса развития из «черт и резов», как и некоторые иные системы письма. «Отнюдь не являлось бы смелым предположением, — писал академик С.П.Обнорский, — о принадлежности каких-то форм

учат, будто от лохматого Велеса истины познали! Разве не видишь ты, сколь превыше учение наше вашего бормотания?!

— А неужели ты не видишь, что говоришь теперь, как князья и бояре их?! Я же говорю, как человек… Пойми же, что мне, душе моей и совести, бог твой совсем не нужен. И ты знаешь это и знаешь, что слаба вера твоя против народа нашего, поэтому и воинство привел… Великое слово пришел сказать, а воев водишь против людей… Сам не веришь, что одним словом своим можешь склонить людей к иному богу, повернуть пути их… Оружие тебе нужно…

— Да, нужно. Потому что от младенчества не поднялись вы еще, и не слово слабо, а умы и души ваши не достигают его… А неразумных направлять надо!

— Да неужто бог ваш учил вас нести слово его во всеоружии и избивать всех несогласных?!

Кулик подошел вплотную к иконе и долго молча глядел на Христа. Потом он резко обернулся и так же близко, как к иконе, подошел к волхву. Он смотрел не мигая в глаза изгоя, и Соловей видел, что христианин ненавидит его.

— Ты страшный человек, — тихо, почти шепотом, проговорил попин. — Самый страшный из всех, кого я видел… Ты никогда не поймешь величия слова Христова и всегда будешь врагом будущего! Теперь ступай из храма и помни: я сделал все, чтобы просветить душу и ум твой, но ты не воспринял этого. Запомни! Ты сам не захотел этого, и теперь пусть свершится по закону!

Кулик толкнул Соловья к выходу из церкви.

Всеслава вновь поставили перед судом, и попин громко и строго заговорил, будто недавней беседы в храме не было.

— Слушай, волхв-оборотень, и слушайте вы, смерды! Все вы уже видели в новом храме, а сейчас я показал и этому упырю истинного бога всех людей. Вы честно возводили церковь, и свет животворящей веры проникает в ваши сердца. Так было во всех землях, и так будет на Руси. Ибо идолы не боги, но дерево, сделанное руками человеческими; ныне некоторые еще почитают их, но скоро бесы погибнут, ибо ничего не разумеют, что вы им говорите, не ощущают, когда сокрушаемы и сжигаемы бывают. Бог есть один, ему служат христиане и поклоняются, иже сотворил небо и землю, солнце, луну, и звезды, и человека и дал ему жить на земле. А ваши боги ничего в мире не сотворили, но сами сделаны руками человеческими! Ваши боги дерево!

А о тебе, волхв, пророк сказал: окаменело сердце твое и уши с трудом слышат! Ибо ты имеешь и делаешь волшебные притворы, молишься идолам, занимаешься волхованием, и потому всякий волхв — главный враг Христа!

— Мне именуют волхвом, да! Но я не волхв — и ты знаешь об этом. Ведь еще зовут меня Соловьем, но я простой изгой!

— Помолчи! Бог наводит за грехи на какую-либо землю голод, мор, засуху, иные бедствия; сам же человек не знает ничего! И хвори людям от

письменности уже русам антского периода», т.е. VI-VII веков. В конце XIX века при раскопках В.А.Городцова в окрестностях села Аликаново (б. Рязанский уезд) был найден глиняный горшок X-XI веков с изображенными на нем загадочными знаками, которые и получили в науке название «аликановских». Городцов считал их письменными знаками вятичей, привлекая в подкрепление гипотезы свидетельства арабских писателей

бога, и человек не должен им препятствовать!

Тишина вокруг еще больше замерла; смерды ошеломленно выслушивали жуткие слова Кулика.

— Пойми, — протянул к волхву руку попин, — пойми, ничтожен наш кратковременный мир! Сердце же у тебя покрылось дьявольской коростой, но только приверженных богу ждет награда великая на небесах.

— Но ведь вы, христиане, принесли на Русь не истину, а только закон и законоучителей…

— Замолчи! Судит паршивая овца о пастырях… Ты и они должны вникать в иное. Ты вот, может, и был когда-то добр и чист, но ныне дьявол тебя поглотил! А нераскаянный грешник есть новый распинатель Христа! Апостол Павел сказал, что идолослужители не наследуют царства божия. Ибо все грешники погибнут, праведных же бог милует и одаривает. Только благословляющие его наследуют землю, клянущие же его истребятся! Возвеселится праведник и, когда увидит отмщение, руки свои омоет в крови грешника. Милость же бога лучше, чем жизнь, и потому уста мои всегда будут восхвалять его. Ибо господь учит побеждать врагов и избавляться от них. От таких бесов, как ты! Но бог дает и радость, которая переходит и по ту сторону гроба!

— У нас нет гробов! — воскликнул Всеслав. — Не по твоей вере пока живем, у нас всякий умерший с дымом своего костра возносится в ирье!

— У кого у вас?!

— На всей русской земле, от Дикого поля до Чуди!

— Нет, волхв, не лги! Уже половина вашей земли поклоняется Христу!

— Пусть кланяются — каждый волен своей душой… Я же о другом тебя спрашиваю — неужто ничего радостного, по твоей вере, не дано человеку на этой земле, при здешней жизни?! Мы своих богов благодарили, вы учите вашим богам поклоняться, прощения просить! Пусть верующие в вашего бога идут в ваш рай, пусть! Но у нас есть свой рай — ирье! И мы вознесемся туда. Неужто ваш бог уже разрушил наш рай, изгнал наших богов — и куда он их отринул?! Неужто Христос убил Рода и Лелю?! А где навьи-души наших предков? Что с ними сделали, если отныне един рай для всех человеков?! И един ад?! Значит, вы в рай, а мы в ад? Почему? На небе с времен пращуров были наши боги, мы чтили наших кумиров, верили им, жили вместе, как смерд с домовым! И всему этому конец, потому что ваш бог превыше человека! Значит, человек ничто, муравей, муха?! Тьму на людей опускаете, Христовы слуги!

Но пусть, пусть! Я верю в своего бога, ты в своего. Пусть, по-твоему, твой кумир лучше, а по-моему, Род самый лучший! Почему же ты хочешь за это истребить меня?! Живите со своими богами, мы со своими — и не будет смертей и бед. Который раз спрашиваю тебя: зачем нам чужие боги?! Я не подошел к тебе с ножом и не требую, чтобы ты поклонялся Роду и рожаницам! Но я родился с ними. Вон Солнце, вон Небо, вот Земля — они же вечны и дали мне, всем нам жизнь. Зачем мне идти против своей души?! Она ведь превыше всего, любых богов; ее беречь надо до самой смерти! И свою душу, и душу ближнего! Она ведь уходит на ВЕЧНУЮ жизнь в ирье! Разве может кто-нибудь посторонний наполнить добром и счастьем душу человека?! Она у каждого своя, и бережет ее каждый сам. А для этого надо быть счастливым на этой земле, при жизни! Вы же, знаю, с младенчества гниете в темных кельях и все время убегаете от света в свои норы! Ты говоришь — бог создал все! Нет! Мир пребывает

извечно, а боги, наши боги, только помогают людям. Душа вечна, бог потом появился. Почему для вашего бога надо жизнь отдавать?! Твоя вера страшна, она говорит: или боги, или люди! Наши же боги братаются с нами, мы видим их каждый миг. Подними голову! Вон оно, Солнце! А где твой бог?! Покажи, покажи! Он лишь обещает прийти…

— Останови его!

Отроки подскочили к Всеславу.

Византийцы долго громко спорили, размахивали руками, и черные рукава их одежд сползали, обнажая странно тощие руки.

— Тебя надо убить! — поднялся попин. — Убить, ибо, если будешь жив, станут похваляться злые духи, что победили тебя, и начнут еще больше зла причинять!

Волхв кротко улыбнулся, закрыл глаза; он понимал, что попин не знает, что теперь сказать. Истину проговорил он, изгойный русич.

— Теперь сам видишь, какое ваше учение, — заговорил он снова. — Бесчеловечно оно, жить повелевает не по совести, а по слову Христову, по закону. Отселе виновных среди людей не будет, а только перед богом все закаемся. Убьют меня по слову твоему — но совесть у палача нетронутой останется: он ведь чужую волю исполнил. А мы привыкли по совести жить. Кто отнял у человека жизнь, тому грех перекладывать не на кого. Кто убил, на том и вина! Ваша же вера научает, что нет убийцы, раз он волю божью выполнил…

— Не всякого убить, волхв! — перебил Кулик. — Иначе сказано. Казнить еретика — значит руку освятить! Убийство бога ради не убийство; видевшие казнь, бога убоятся!

— Разве в страхе бог, а не в совести?!

— Нет, ложь это! Пребывать все время в покаянии, молиться господу Иисусу Христу и пречистой его матери — вот истина веры!

— Всегда в покаянии?! Жизни радоваться надо, сам говорил, что она миг один! Светлую же жизнь дает светлая совесть! Все душе и совести поклоняются, и как можно во чье-либо имя губить их?! Наши кумиры говорят: ни правого, ни виноватого не убивайте и не повелевайте убить его! Если даже повинен в смерти, не губите душу! Вы же готовы стелить снопы из голов, веять душу от тела! Лучше слепые глаза, чем слепое сердце, а вы про сердце совсем позабыли!

— Не клевещи на веру Христову, вурдалак! И мы верим в души, и мы знаем, что душа, взлетевши, воспаряет в рай богонасажденный, где вечно цветет дерево жизни и где жилище самому Христу и избранным его. Пойми, изгой из изгоев, что большее из всех чудес есть то, что двенадцать человек, бесписьменных, безоружных, нищих, проповедовавших крест, победили не только владык и сильных земли, но и самих богов языческих, и целый свет Христу покорили! Одним святым словом!

— А эти, — кивнул головой на дружинников волхв, — зачем вам?

— Эти против тебя… А всюду только словом святым! А у тебя, у вас, русичей, ведь писания даже нет!..

— Опомнись, Кулик! Войди в любую избу, и тебе дни и ночи будут рассказывать сказки и петь песни…

— Сам скоро запоешь! — пробубнил кто-то неподалеку; Всеслав обернулся, увидел злые, пьяные глаза Опенка. Соловей на миг смолк, но скоро опять заговорил:

— Вот видишь, своего бога вы любите и славите, а людей ненавидите и избиваете! Идущие за вами гибнут! Вон Опенок давно уж душу свою

сгубил, вас слушая.

— Не погубил он душу, а только укрепил в истинной вере. Ибо богом сказано: кто погубит душу свою меня ради и моего учения, тот найдет и сохранит ее в жизни вечной!

— И такого бога превозносите! Скажи хоть, душа-то у него есть? Ведь, если есть, он ей должен быть подвластен! А если сам бог есть душа, то он давно во мне и во всех, и я есть сосуд великий, и убивающий меня убивает во мне бога, он богоубийца! Разве над богом вашим никого нет? Раз у бога и у человека есть душа, то тогда есть закон самый высший и для человеческой души и для божеской. А для души один закон — совесть. Значит, она бог для вашего бога. Если же у него даже милосердия нет, то…

— Это богохульство! Никто не может говорить о себе, как о равном богу!

— Почему?! Если Христос подвластен совести и я ей служу, значит, она выше всех кумиров! Но если у вашего бога нет совести, как я приму его?!

— Ты не понял и не поймешь истинный смысл великого богоданного и боговдохновенного учения. Ты сперва должен войти в это учение, принять его, тогда только поймешь все, тогда только благодать снизойдет на тебя.

— Не пойму я этого, попин! Ты мне говоришь: поклонись моему Христу! Я спрашиваю: совесть у него есть? А ты отвечаешь: прими веру, тогда поймешь и узнаешь! Говорил я тебе, что со своими богами мы братаемся, а твоему богу я должен только кланяться и прощения просить! Потому и требуешь, чтобы я, не думая, перешел в новую веру.

Опять глухо зашумели прижавшиеся к храму смерды; встревожившиеся византийцы уставились на дорогу, обернулся и Всеслав.

По середине улицы двигались вирник, а позади него двое отроков волокли на веревке волка. Зверь беспрестанно рвался из стороны в сторону, рычал, упирался лапами, глубоко царапая когтями твердую землю. Дружинники с обеих сторон еще сильнее натянули петлю, закрученную на шее волка, зверь захрипел, его дикие глаза густо покраснели, и он медленно стал пригибаться к земле.

Так его подтащили к волхву и только тут ослабили удавку.

Вирник, не глядя ни на кого, подошел к столу, подозвал Опенка и отправил его куда-то вместе с двумя отроками. Посланцы скоро возвратились, неся толстый короткий кол, поспешно вогнали его обухами топоров в землю. Но теперь никто не решался привязать разъяренного волка.

— Руки освободите, я привяжу! — Всеславу распутали руки, он вытер ладонями лицо, шагнул к зверю.

Вокруг притихли; напрягся настороженно и волхв — он глядел на зверя и понимал, что тот в каждый миг может наброситься на него. Сделав еще шаг, Соловей приостановился, снова потер онемевшими руками лицо, глаза — и вдруг увидел за дорогой, позади изгороди последней избы, своего мальчика. Тот коротко взмахнул рукой Всеславу и скрылся за плетнем.

Всеобщее безмолвное ожидание тянулось бесконечно; неподвижно стояли, прижавшись друг к другу, смерды, недоуменно смотрели на подсудимого византийцы и вирник. И волк успокоился — вырывая из рук отроков веревку, он потянулся к волхву, ткнулся мордой в ноги и прижался к ним. Всеслав побоялся тащить его на веревке и поэтому взял

зверя на руки, перенес и уже потому обмотал конец петли вокруг кола. После этого он остановился рядом.

Попины оживились, забормотали; только вирник склонился к столу и задремал, будто все происходящее здесь его не касалось.

— И теперь ты станешь говорить, что это лесной волк?! Волки никогда не повинуются человеку, а этот сам прижался к тебе! И ты говорил, что не занимаешься волхованием, а всего лишь несчастный изгой! Кто теперь поверит твоим словам, оборотень?! Сколько ты сегодня рассказывал о своей вере, уверял, что она есть вера и всех русичей. Ты лгал, волхв, — ты человек с третьей верой. Ни Род, ни Христос не нужны тебе, ибо есть у тебя свой, неведомый им, бог тьмы и подземелья. И он его слуга, — показал Кулик на волка.

— Зачем снова нечистое плетешь?! Мой бог Род! А это просто волчонок, и я подобрал его почти слепого в лесу. Потому что мне стало жалко его. Не упырь он, не вурдалак, а звериный детеныш!

— Но он слушается тебя, все видели!

— Я давал ему молоко и тепло!

— Никто не пригревает у себя лютого зверя просто так!

— Я же сказал, что подобрал его из жалости.

И опять на суде стало тихо. Всеслав переступал занемевшими от усталости ногами и все время тайком поглядывал туда, где притаился мальчик. Вирник похрапывал, попины неслышно перешептывались.

Солнце прошло середину неба и медленно катилось к лесу. Тень от церкви и установленного на ее маковке креста двигалась от дороги к столу, накрывая людей.

Кулик вдруг поднялся.

— Все, что говорил ты здесь, показывает, что закоснел ты в невежестве своем и увещеванием нельзя просветить тебя, — строже, суровее прежнего говорил попин. — В последний раз спрашиваем тебя: куда сокрыл ты Рода и почему убил Ора и Ратая? Хотел свое зло их смертью прикрыть?!

— Я не прятал кумира и не губил стариков, — глядя в упор на византийцев, твердо ответил Всеслав.

— Ты лжешь, волхв, и пусть бог покарает тебя за этот грех. Подумай в последний раз и говори: готов ли ты выйти из мрака безверия и принять истинную святую веру в единого и великого бога Иисуса Христа?

— Я всегда жил в вере; она учила нас любви и счастью. Вы же приняли закон и одно послушание! Все мы твердо верили и верим в своих богов. И не от безверия к богу призываешь ты меня шагнуть, а от своего бога к чужому! У всех народов это называется изменой, предательством! Какой же ценой хотите вы наполнить свои храмы?! Если я перейду в вашу веру, мне будет стыдно, стыдно! Неужели надо сделать жизнь адом, чтобы потом получить рай?! С древних времен живем мы на своей земле, и никогда не собирались отрекаться от своих кумиров. И вот пришли вы и требуете этого от нас. Почему? Разве мы бессовестные люди?! Или совесть можно переменять — сегодня была одна, завтра другая?! Люди ведь совесть не сами себе делают; она была, есть и будет одна — сколько солнце светит! Единая совесть у всех людей земли, и каждый ее знает: самое великое на свете — это жизнь, и никто не может ее отнимать! Даже во имя божие! Так учат наши кумиры!

— И наш бог говорит: не убий!

— Тогда вовсе непонятно, зачем измены требуете от меня. Христос

говорит: не убий! Наши боги прославляют жизнь; почему же ополчились вы на нас? Почему хотите, чтобы мы сменили совесть?! Ведь в ней вся наша сила, ей первой мы поклоняемся! И нет на земле богов превыше ее. Ваш же Христос учит: не убий своего, но казни чужого! Для наших же богов нет чужих людей, для наших богов нет презренной жизни, всякая жизнь священна! Вы же принесли не любовь, а учение. И говорите, что, кто творит по учению, тот не отвечает перед совестью! Убил человека, но совершил богоугодное дело! Горе несете народам, заменяете совесть словом божиим и хотите утвердить на земле две совести! Как же это возможно?! Разве могут прийти к людям два Христа! Если бы так случилось, они начали бы биться между собой, чтобы собрать себе побольше учеников!

— Опомнись, смерд! Не гневи бога! — закричал Кулик.

— Как могу я молчать?! Вы хотите убить меня…

— Да, всякого нераскаявшегося надлежит убить!

— Значит, смерть есть слуга вашего бога?! Разве не должен он, по вере своей, остановить руку убийцы?!

— Да, должен. Но если не остановит, то, значит, великий грех на том человеке и он повинен смерти!

— Как же может жить среди людей изувер, отнявший по зверству своему или по наущению вашего бога чужую жизнь? Боги сотворили человека! Пусть я не угоден вашему Христу — тогда я прошу его: пусть немедля поразит меня!

Всеслав поднял к небу лицо, протянул вверх руки и прокричал:

— Иисус, я обидел тебя! Убей меня тут, сейчас!

Очнулся от дремы вирник, вскочил на ноги и повернулся к волхву волк — все замерли в ожидании, но ничего не произошло.

— Ты видишь, Кулик? Почему ваш бог не поразил меня? Может быть, ты лжешь, говоря, что он тебе велел это сделать?! Если нет, тогда приступай! Ты порешил, что меня надо убить, сам и исполняй! Вот я беззащитный стою перед тобой, возьми нож и убей меня!

— У каждого на земле свое дело!

— И ты ни в чем не виноват?! Только я виноват?! Но я не знаю за собой вины! Как устоит твой мир — ты велел, он исполнил: все неповинны — лишь я…

— Мы твоей крови не прольем! Ты сгоришь на костре, и душа твоя вместе с дымом уйдет в твое бесовское ирье! По злобной вере твоей! Мы звали тебя к свету, но ты не шелохнулся! Нет места тебе на этой земле!

Кулик спросил о чем-то христиан, те закивали головами, коротко выговаривая свистящие непонятные слова. Вирник сперва поглядел на них, потом снял со стола полотенце, накрыл им голову от слепящего солнца, опять захрапел.

Ужаса еще не было в сердце Всеслава; он слышал приговор судьи, понимал, что наступил конец его жизни, но все это оставалось чужим, будто он мог повернуться, уйти в свою избу и жить там так, как жил до сей поры.

— Слушай, волхв Всеслав, и слушайте все смерды! — начал Кулик. — Возрадуются верные в веселии сердца, ты же и подобные тебе, покорившиеся бесам, молящиеся идолам и устраивающие пиршества в честь Рода и рожаниц Лады и Лели, будете рыдать в судорогах сердец своих!

Все это свершится с тобой и в этой жизни и в будущей! Ты сам

отрекся от радостей будущего века, так как вечный покой потустороннего бытия будет доступен только избранным. Тебя же господь бог убьет. А покорные возвеселятся, воспевая истинного бога. Ты же бесовскими словами славишь идолов Рода и рожаниц и губишь пророчества книг. Великое несчастье, зло — не послушаться более мудрых, чем ты сам, или же, понял все, не исполнить воли божьей, объявленной тебе в написанном законе.

— Братья! — попин обратился к смердам. — Услышав все, что сказано вам, откажитесь от бессмысленных деяний, от служения Сатане, от устройства идольских пиров Роду и рожаницам!

Выполняйте, братья, волю бога, как учат нас книги пророков, апостолов и отцов церкви, чтобы получить вечную жизнь при спасителе Иисусе, господе нашем!

Всем бо есть творец бог, а не Род!

Ни единого звука не раздалось в ответ. Кулик толкнул вирника, тот сдернул с лица полотенце, уставился на попина мутными глазами, постепенно пришел в себя и подозвал отроков, Опенка.

Выслушав повеление, дружинники подошли к Всеславу.

— Забирай своего вурдалака и — пошел к сухому колодцу!

Волхв отвязал волка, они вышли на улицу и поплелись к околице. Всеслав все глядел на плетень, укрывающий мальчика, но никого теперь там не видел, а зверь часто тоже озирался и, если отроки подходили близко, грозно скалился.

К середине пути волхв почти обессилел: он едва различал неподалеку от себя какие-то звуки, не отворачивался от слепящего солнца и все шагал и шагал. И даже прошел мимо колодца, но дружинники окликнули его.

В беспамятстве Всеслав послушно перевязал вокруг своей груди веревку, взял на руки волка и полез вниз, в сруб. Зверь защелкал на отроков зубами, захрипел и успокоился, только опустившись на расстеленный полушубок.

Тут по-прежнему недвижимо стоял прогнивший воздух. Всеслав долго тяжело дышал, потом, немного привыкнув, лег на овчину рядом с волком. Тот тоже задыхался и все сглатывал громко слюну.

Что-то уперлось в спину, он пошарил рукой, нашел засохший хлеб. Всеслав разломил краюшку на две половины — одну положил перед волком. Тот понюхал сухарь, но есть не стал. Соловей же отломил несколько кусочков, почти крошек, начал жевать, но уронил руку с ломтем на полушубок и заплакал. Без рыданий, без всхлипываний — просто текли и текли из глаз его беспрестанно слезы. Горячими ручейками они струились по щекам, обжигая шею. Волхв изо всех сил зажмуривал глаза, но слезы не прекращались.

Волк, будто жалея человека, сидел рядом неподвижно. Всеслав видел перед собой зеленые глаза зверя, но он знал, что это не вурдалак — ведь Соловей помнил его щенком, когда тот тыкался мордой в распоротое брюхо волчицы-матери и крошечным серым языком слизывал молоко и кровь.

А рядом тогда лежал мертвый лось, позади белых ребер его мелко дрожало темное блестящее сердце.

Всеслав внезапно с разрывающим все в ним ужасом понял, что его сердце сгорит в огне, превратится в пепел после жуткой муки. Горе так стиснуло волхва, что он застонал и обмер в беспамятстве. Слезы потекли

еще сильнее, он рухнул на полушубок.

6

Когда Соловей стал приходить в себя, перед глазами возник недавний день в лесу и кукушка, долго считавшая ему предстоящие годы. Вот как сбылось пророчество! А теперь птица скоро замолчит[53] и уже не обманет… Вдруг молнией пронзила мысль. Ведь не решатся же попины казнить его в священные купальские праздники[54]. Разве можно творить человеку муку, когда вся Русь торжествует! Надежда полыхнула не наго жаром, но узник испугался ее — в счастье нельзя, не надо было верить.

Волхв открыл глаза: со всех сторон к небу тянулись черные стены сруба; рядом прерывисто дышал волк, а там, наверху, накрывал колодец темно-синий лоскут неба-ирья.

Так же гулко, как утром, возле колодца поспешно протопали чьи-то шаги, и Всеслав догадался, что отбежал его мальчик. Чего хотел он? Помочь? Проститься? И что смог бы волхв сказать ему при вечном прощании, какие слова оставить тому, чья судьба повторяет его, Всеславову, жизнь?! Вот это! — вспыхнуло в сердце Соловья, это сказал бы он: если после его смерти мальчик забудет Рода, значит, все пошло прахом! Как будет жить он, второй Всеслав?! Рода нет, но церковь уже есть, и попины силой, лестью и лаской станут увлекать туда русичей. И уже многие нынешние дети не увидят русских кумиров, а их дети совсем позабудут великих богов. Деды и отцы умрут, и русская вера переменится сама собой, значит, он, старый Всеслав, примет смерть напрасно, она не остановит победы христиан. Но нет, не ради же этого он восстал против иноверцев, не ради своих соплеменников, а потому, что сам не мог искалечить свою душу, совесть. Разве был у него выбор?! Нет, нет! Смерть подошла к нему с двух сторон — он просто выбрал свою.

Волхв опять испугался этих мыслей, пошевельнулся, глянул наверх: вчерашняя звезда снова спускалась к нему. Она горела ярче, переливаясь красным и синим цветами, в ней были торжество и радость. «Да ведь это звезды собираются на купальский праздник!» — осенило узника. Соловей стал вглядываться в огороженный наверху бревнами лоскут неба. Он даже не ощутил, как его сковало забытье и потом память начала возвращать яркие видения детства в купальское утро, когда он стоял одиноко на огороде и, запрокинув голову, глядел на небо. Отец и мать еще спали, но его растолкал перед рассветом домовой, Всеслав бесшумно выбрался из избы на двор, чтобы увидеть, как в этот праздник играет солнце.

Сегодня оно выезжало из своего чертога навстречу месяцу на трех конях

— серебряном, золотом и алмазном.

В то утро небо еще сохраняло густую синеву; посередине его, над головой Всеслава, проплывало белое с розовым боком, единственное на всем небосводе облако. А из-за реки сверкало невидимое еще солнце — его свет пронизывал край неба, и ирье там сделалось сперва зеленоватым, потом оно разогрелось и порозовело.

Лес, только что лежавший мрачным покрывалом на всей земле,

53 кукушки перестают куковать 29 июня

54 день Купалы — 23 июня

проснулся и озарился живым зеленым пламенем. Черная вода в реке ожила, засеребрилась, сдвинулась в своем ложе с места и тоже потекла в ирье. А там приближалось к краю земли солнце; красно-золотисто-зеленый свет уже разгладил ему путь — и вот блистающий круг поднялся над началом мира. И снова все преобразилось: обрадованно замелькали, сверкая белизной, ласточки, тяжело пролетел мрачный ворон, вспугнутый всеобщей радостью. В веси залились петухи, замычали коровы, вмиг ожили, избы.

Тепло все струилось и струилось с неба на землю; солнце, сначала огромное и красное, быстро светлело, раскалялось, и его лучи закружились, переливаясь и перемешиваясь.

Душа Всеслава полыхала от радости — такой всеобщей сверкающей красоты он до этой поры не видел. Да и сколько еще предстояло ему посмотреть сегодня чудесного, когда боги приходят к людям.

Праздник начался для него еще вчера: так же тайно он выскользнул из избы и дотемна глядел, как девки опускали в Клязьму сплетенные из цветов венки. Желто-сине-зеленые маленькие круги, чуть покачиваясь, медленно отплывали от берега; нарядно одетые — в чистые поневы и новые лапти — девушки то громко смеялись, то умолкали, следя за своими цветами. Самым страшным было, если венок тонул — это означало разлуку с любимым; плохо также знамение, когда венок отплывал к противоположному берегу. Цветы намокали, тускнели, все глубже погружались в воду; в наступающей темноте венки скоро становились почти невидны — и тогда все останавливались, некоторое время еще продолжали отыскивать взглядом свою судьбу, но Клязьма совсем уже скрывала ее; потом молча возвращались в Липовую Гриву.

Вечером на Купалу смерды сходились к Ярилиной плеши. Каждый был опоясан перевитым жгутом из свежей травы, на голове лежал многоцветный венок. Гудки, свирели, рожки и бубны стройно играли песню за песней; смех, выкрики, визг быстро окружили подножье холма. Наверху, в кумирне, горел, как никогда большой, костер, и красное лицо Рода отчетливо виднелось перед темным небом.

Потом гомон и шум стихли, и мужики стали затаскивать на Ярилину плешь смоляные бочки. Несколько человек принялось устанавливать на врытых в землю шестах тележные колеса, тоже облитые смолой.

Ребятишки и бабы складывали несколько костров. Посредине же поляны, между поленницами, поднималась большая соломенная Купала, увитая крашеными лентами.

Когда закончили всю подготовку, вдруг замерли, смолкли — каждый загадывал богам желание; на плеши трещал огонь, искры взметывались вверх, но не долетали до головы Рода и гасли.

Вдоль невидимой отсюда Клязьмы проплыло несколько облачков тумана, тишина стала еще напряженней, и тогда будто сама собой в толпе заиграла свирель. Плавная, желанная песня обвивала, окружала неподвижных людей, потом поднималась к звездному небу и, не стихая, долетала до него. Всеславу показалось, что песня разделила сегодняшний и вчерашний дни и все, бывшее с ним и с весью прежде, остается позади, а перед ними встает что-то новое, лучшее, небывалое еще на русской земле.

Песня стала убыстряться, веселеть, в ее звук вплелись гудки и рожки, гулко ударил бубен — и снова все закружилось, зашумело; но и этот радостный гомон на миг замер — Всеслав обернулся и увидел, что сверху,

от Рода, спускается человек с горящей веткой в руке. Он двигался торжественно, медленно обошел сложенные копнами костры и поджег их. Пламя расплылось по черным сучьям, потом поленьям, и горячий гул и треск заполнили поляну.

Праздник начался. Соломенная Купала весело глядела на пляшущий, кружащихся вокруг нее русичей и помахивала разноцветными лентами.

Подожгли колеса-солнца на шестах, с Ярилиной плеши донеслись пронзительный свист, выкрики, и с холма, гудя пламенем, скатилось несколько горящий бочек. Одна из них ударилась о поленья костра и остановилась, смола потекла в огонь, и он взметнулся до самого неба.

Еще одну бочку, толкая палками, докатили до реки и спихнули в воду. Пламя сердито зашипело, белый густой пар окружил бочку, она медленно отплыла от берега и стала удаляться, небольшими лоскутками прыгал по ней огонь и долго еще трепетно поблескивал в ночном мраке.

Костер, разрушенный бочкой, прогорел прежде других, и тогда смерды принялись прыгать через огонь. Всеслав стоял неподалеку от дышащих жаром углей и видел, как веселые сперва лица разбегающихся мужиков и парней менялись, напрягались, когда они пролетали над очищающим пламенем костра.

Постепенно людей на поляне и возле Рода становилось все меньше и меньше, и Всеслав понял, что наступил главный миг праздника. Страх и надежда охватили его, одна сила неодолимо влекла в черный опасный лес, другая предостерегала, удерживала здесь, возле кумира. Но все-таки, с замирающим сердцем, тайком от других, он осторожно отошел от костров и шагнул в лесную тьму.

Перед ним предстал таинственный, волшебный мир. Где-то здесь этой ночью на не ведомой никому поляне должен огненным цветком вспыхнуть, зацвести папоротник. И к нему нужно было идти, хотя страх сковывал мальчика; он долго глядел во мрак леса, потом обернулся к Ярилиной плеши: красное пламя нескольких костров струилось над землей. Люди в белых рубахах и поневах толпились возле огня, а вечный, бессмертный, все знающий Род бесстрастно глядел на русичей с вершины кумирни.

— Родушка, батюшка, помоги найти волшебный цвет! — прошептал Всеслав. Ему до слез, до боли в груди хотелось отыскать чудо. Тогда бы вся весь поразилась и позавидовала ему: папоротников цветок делал ясным его владельцу всякий язык — он смог бы понимать, о каких богатырских подвигах рассказывают друг другу дубы, сходящиеся в купальскую ночь для беседы; щебет всякой птицы, рык каждого зверя откроются Всеславу, то, что для других покажется шумом древесной листвы, для него оборотится повестью о тайнах леса.

И Всеслав шагнул во тьму; чем дальше он уходил, тем больше мог видеть: серебристый свет луны все свободнее просачивался вниз, к земле, сквозь черные кроны деревьев и бесшумно растекался по траве, кустам. Иногда ветка дерева почему-то вздрагивала, резко передвигалась и тень на земле, но тут же все успокаивалось, и опять лишь едва слышимые шаги мальчика тонули во мраке. Порой Всеславу казалось, что нечто особенное происходит у него за спиной, что так неслышно крадется за ним по пятам таинственное неведомое существо, — он испуганно оборачивался, готовый стремглав бежать, но и позади него стоял посеребренный луной лес. И опять, стараясь почему-то не шуметь, Всеслав делал шаг за шагом вперед, обшаривая мрак взглядом. Но чудесного цветка нигде не было.

Страх понемногу стал утихать, и мальчик пошел скорее; порой ему слышались голоса людей: они доносились то отчетливо и явственно, то глухо, сметно. Лес все больше делался своим, знакомым, и даже лунный свет стал ярче и будто потеплел.

Вдруг впереди заблестело что-то большое, продолговатое, через мгновение Всеслав понял, что это Клязьма, и двинулся к ней. Он много раз слышал от рыбаков, что в Купальскую ночь вода в реке покрывается серебристым покровом, и вот теперь сам увидел это чудо.

Совершенно неподвижная Клязьма спокойно лежала среди черных, сумрачных берегов. Весь лунный и звездный свет, прилетавший с небаирья, полностью растворялся в оде, и она сияла в ночи сверкающим серебряным покровом. Изредка над ней проплывали редкие, как морозное дыхание, клубы тумана и скоро пропадали во тьме леса.

Чей-то выкрик раздался впереди, и звук пронесся над рекой так явственно, что мальчик удивился, что не видит его. Всеслав долго стоял на берегу, глядя на преобразившуюся Клязьму, потом медленно пошел обратно к праздничной поляне. От росы у него намокли ноги и, вспомнив еще об одной примете, он лег ничком и раскинул руки. Земля пахла сыростью, травой; Всеславу почудилось, что в далекой ее глубине слышится неясный шум, он осторожно приложил ухо к холодной, мокрой траве и долго вслушивался в тайну. Потом мальчик несколько раз прокатился по земле — купальская роса была целебной и охраняла от всяких недугов и напастей — и опять замер, теперь уже повернувшись на спину.

Беспредельное звездное небо сверкало над черной землей, из конца в конец его пролег великий Перунов путь, усыпанный алмазными искрами; кое-где на нем темнели черные пятна, но и оттуда вдруг вылетали маленькие звезды и, едва слышно прошуршав по небу, падали за лесом, на край света. Все пространство от земли до неба заполнял голубоватый недвижимый свет.

Всеслав лежал так до тех пор, пока сильно не озяб — намокшая от росы сорочка прилипла к телу, да и воздух вдруг быстро похолодел.

Мальчик поднялся, быстро зашагал вперед. Со стороны поляны все явственней доносились выкрики людей, песни; оставалось завернуть за последние перед Ярилиной плешью деревья, как Всеслав увидел перед собой человека и сразу узнал отца. Тот, осматриваясь, то приостанавливался, то медленно двигался вдоль берега. Увидев Всеслава, отец пошел навстречу.

Когда они сблизились, мальчик негромко проговорил:

— Не нашел я его!

— И ладно, не грусти, ты еще найдешь! — он обнял сына за плечи, и они зашагали к праздничной поляне.

Соломенная Купала ярко горела. Пламя вмиг охватило ее и весело загудело. Вся весь толпилась вокруг; многие нарочно плакали, жалеючи сгорающего бога, но как только огонь сжег Купалу, смерды с выкриками и смехом стали расхватывать обжигающий руки пепел, чтобы посыпать им свою ролью-пашню. Пока одни шумели и толкались, парни принесли молодую тоненькую березку, поставили на месте исчезнувшей Купалы. Бабы и девки быстро украсили березку, и все двинулись к избам.

Небо позади Ярилиной плеши начало светлеть, хотя луна и звезды сияли по-прежнему ярко.

Впереди наряженной березки шли, взявшись за руки, одетые в белое

девки и звонко пели:

Ой, дедушка, дедушка, седая бородушка, Хоть седая борода, разумная голова.

Хоть седая борода, разумная голова.

Пусти меня, дедушка, на улицу погулять, Пусти меня, дедушка, на улицу погулять.

Я с улицы приду, много песен принесу…

Широкая светлая тропа вела от холма с кумиром на вершине к избам. Постепенно смерды смолкли, и лишь шуршание шагов разносилось в предрассветной темноте. Впереди над русичами колыхалась в лунном свете березка, и на ее тоненьких ветвях трепетали поблескивающие листья и развевались белые и красные ленты. Всеслав не отрываясь глядел на березку.

…Какой давней и чудесной была та ночь. Душа волхва-изгоя, улетавшая в нее, возвратилась, и Всеславу стало так горько, так тоскливо и страшно, что он обхватил голову руками и громко зарыдал. Жгучая боль растеклась по груди, видения памяти пропали, лишь колодезная тьма еще плотнее окружила его.

При первом же стоне Всеслава волк вскочил на ноги, несколько мгновений он стоял неподвижно, вслушиваясь в рыдания человека. Свет звезд, долетавший сюда, чуть освещал шерсть зверя, но, когда он поднял вверх морду, клок неба страшно сверкнул в черных его глазах.

Волк коротко прохрипел и вдруг завыл. Жуткий звук разрывал звериную пасть, потом бился об иссохшие стены колодца и вырывался в ночной мир.

Прежде, еще вечером, Всеслав догадался верно: и вправду к колодцу тогда подкрадывался его приемыш, мальчик-сирота. Однако сторожа заметили его, один из них выстрелил. Стрела просвистела в стороне от мальчика, но Всеслав-младший замер, прижался к земле. До рассвета он выжидал, однако отроки не смыкали глаз, а когда из глубины земли донесся ужасный волчий вой, повскакали с земли, отбежали в стороны и подняли заряженные луки.

Мальчик бесшумно отполз к веси, обошел крайние избы и рывком подбежал к церкви. Он знал, что только сюда, к ней, приведут волхва, и решил ожидать.

Чижи постепенно стали просыпаться, заскрипели в разных концах веси ворота, закричали петухи, замычала, забеляла скотина; высокий тощий мужик в одних портах, без сорочки, вышел на крыльцо ближней избы, долго всматривался в прижавшегося к стене храма Всеслава, проговорил что-то и ушел.

Пригнувшись, мальчик обежал церковь и остановился: в нескольких шагах от него белел новым деревом стол, перед которым вчера терзали вопросами волхва. Сейчас тут было пусто и тоже страшно. Внезапно вдалеке — в самом конце тропы — из леса вышел человек, несший на плече длинное бревно. Он быстро приближался к церкви, скоро вышел на улицу, и Всеслав узнал Опенка. Испуг сразу же согнал его с места, мальчик забежал за угол храма, но скоро отчетливо услышал хриплое дыхание и грузные шаги Переемщика.

Всеслав не знал, что делать, куда схорониться, и уже решил просто стремглав убегать, когда увидел, что дверь церкви чуть приоткрыта. Он

осторожно потянул ее, заскочил внутрь храма, притворил вход.

Желтоватые бревна и доски церкви все еще веяли запахом смолы и хвои; чистый, незапыленный воздух заполнял помещение. Всеслав робко сделал несколько шагов. Половицы под его ногами скрипнули, и он замер, вслушиваясь. Но снаружи сюда не долетал ни один звук. Озираясь, мальчик внезапно вздрогнул, увидев чьи-то глаза, строго следящие за ним. У Всеслава похолодело в груди, от испуга он зажмурился, потом робко поднял веки: с разукрашенной доски на него смотрел человек с длинными волосами и острой, нерусской бородкой. Во взоре чужого бога было сочувствие, и, чем дольше Всеслав глядел на него, тем спокойнее становился — этот кумир не мог сделать ему зла, и его не нужно бояться.

Едва успел мальчик успокоиться, как за спиной у него оглушительно стукнула дверь, и ее чем-то подперли снаружи. Всеслав метнулся к стене, медленно прошел вдоль нее, пытаясь найти спасение, — и потерянно замер.

Из-за стены, совсем рядом с храмом, раздались удары; прислушавшись, мальчик догадался, что Опенок вколачивает в землю принесенное бревно. Отчаяние подхлестнуло Всеслава, он стал осматриваться, ища выход, и вдруг увидел сложенные у стены плотницкие секиры. Он сразу вспомнил, что с ними надо делать, заторопился, перенес секиры в то место, над которым было прорублено продолговатое окно. Приноровившись к стуку Опенка, мальчик изо всех ил вогнал первую секиру в стену храма; затем, встав на нее, вонзил в бревно еще одну и так, поднимаясь с секиры на секиру, добрался до окна, выглянул наружу.

Стоя на толстом чурбаке, Опенок дубиной вбивал бревно в утоптанную землю. На судном месте было все еще пусто, но, подняв глаза, мальчик увидел в воротах изб смердов. Белые, желтые, красные праздничные сорочки светились в разных концах веси.

Над Русью восходило, играя и переливаясь лучами, купальское солнце. Из церковного окна маленький Всеслав не видел светила, но он видел, как с восходом Дажьбога все на земле меняется. Даже Переемщик остановил свою работу и, загородившись от света рукой, стал глядеть на небо.

Появился Кулик. Он приблизился к вколоченному бревну, долго рассматривал его. Потом отошел к столу, сел там на лавку, равнодушно наблюдая за Опенком. А тот теперь подтаскивал к колу поленья и клетью-колодцем укладывал вокруг торчащего из земли бревна, оставляя к нему лишь узкий проход. Работал Переемщик быстро. В конце дела он обложил надземный колодец сухим валежником и, оглядев все, подошел к попину — тот негромко велел ему что-то. Опенок исчез, но тут же появился, волоча за собой длинную железную цепь. Ее черные кольца тихо звенели.

Мальчик, глядевший на все через узкое церковное окно, чувствовал, как тело его все сильнее замирает, онемевшие пальцы одеревенели, в голове гудело, и небывалое прежде бесчувствие охватывало его.

Пришел трезвый, угрюмый вирник, постоял недолго у поленницы, потом исчез за стеной храма, и оттуда донесся его злой окрик. Сворой выскочили отроки и побежали к избам; понукаемые ими, к месту казни стали сбредаться смерды. Наряженные по-праздничному, но пасмурные, хмурые люди растерянно останавливались возле христианской церкви и опускали к земле глаза. Всеслав даже издали видел на лицах приближающихся людей поблескивающие слезы.

Медленно и важно прошагали другие византийцы; один из них

принес белый полотняный мешок, протянул Опенку, безостановочно ходившему вокруг кострища и беспричинно поправлявшему то хворостину, то полено. Делал он это уверенно, так, будто привык быть палачем, ничего и никого не боится.

Со стороны улицы к поленнице подходил волхв; лицо его было совершенно белое, видно, что каждый шаг он делает с трудом, из последних сил. Перед Соловьем на ременном поводке, привязанном одним концом к волхву, шагал, изредка рыча на отроков, волк. Перед кострищем Всеслав-изгой приостановился, странно пошатнулся, будто силы совсем покинули его, потом медленно поднял к небу глаза, долго-долго смотрел в утреннюю синеву ирья. Судорога часто меняла его лицо, неуемная дрожь приступами охватывала все тело, но он все же сдвинулся с места, тяжело пошел дальше, однако ожесточенно кинувшийся на христиан волк рывком остановил его.

Переемщик подскочил к византийцам, забормотал им что-то, но попы оборвали его, и Кулик, выйдя из-за стола, обратился к Всеславу:

— Хочешь райской жизни? Если хочешь райской жизни, скажи «Благословен единый бог и крест животворящий! Радуюсь я, просветивший ум свой и сердце и понявший грехи свои и отторгнувший из сердца своего Рода, рожаниц и всех иных бесовских кумиров!» Говори так, волхв, и не отойдешь сейчас от света сего! Говори!

Наступила такая тишина, что, показалось, можно расслышать течение воды в Клязьме; Соловей стоял, словно окаменевший, лишь лицо его побелело еще сильнее, будто его покинула последняя кровинка.

— Отрекись, волхв, от кумиров или — вот смерть твоя! Отрекись!

Медленно, с невероятным трудом Всеслав стал поворачивать голову; все замерли, с ужасом следя за этим движением. Волхв остановился, когда глаза его увидел опустевшую кумирню, откуда Ор и Ратай унесли в тайную вечность Рода. Теперь уже даже огонь не горел там, однако изгой рассмотрел в бывшей кумирне что-то не видимое никому из собравшихся на казнь людей, и глаза его сверкнули.

Византийцы ждали долго, потом тихо заговорили, подозвали Опенка; выслушав повеление, он сердито отодвинулся от стола, нелепо путаясь, надел на голову мешок с прорезями для глаз и, сразу заторопившись, подлетел к Соловью.

Безмолвно стоящие русичи услышали явственный шепот волхва: «А может, не надо, Опенок!»

Накрывший мешком голову палач на миг замер, но, сразу же опомнившись, толкнул Всеслава к костру. Волк, сперва взъярившийся на Переемщика, вдруг притих, прижался к ногам волхва, и они протиснулись внутрь поленницы. Исчез там и Опенок, коротко прогремела цепь, палач вернулся и быстро заложил заготовленными дровами проход. Он повертел головой, выискивая что-то, убежал, но тут же возвратился, неся в руке горящую лучину. Ограждая ладонью пламя, он подошел к христианам, но те молчали, не поднимая к нему голов, и тогда Доброслав-Опенок-Прокопий медленно приблизился к поленнице и поднес огонь к хворосту.

Византийцы встали, начали креститься, тихо выговаривая неясные русичам слова.

В ярком свете купальского солнца пламени долго не было видно, лишь белый дымок струился между поленьями.

Стоя на секире, вонзенной в стену храма, маленький Всеслав чувствовал, как по его спине стекают струйки холодного пота. Даже

сейчас он еще надеялся, что страшное не произойдет, казалось, что вот-вот кто-то остановит казнь, разбросает дрова и освободит его волхва.

Но огонь разгорался быстро; уже вся внутренность наземного колодца наполнилась густым дымом, он переливался через края, и жар уносил его вверх, к небу. Пламя загудело, затрещало, и тогда из середины огня донесся вой.

Побледнели византийцы, Переемщик, уже стянувший с головы палаческий мешок, испуганно озирался. А вой, сперва низкий, хриплый, стал разрастаться, разрываться, переходил то в визг, то в клокотание.

Выл только волк, волхв-изгой Всеслав погибал молча.

Пламя внезапно вспыхнуло ярче, будто прорвалось внутрь колодца, жуткий вой вмиг оборвался, и тут из глубины костра послышался страшный стон.

Черный дым заметался над огнем; поднимаясь выше, он распрямлялся, бесконечной струей уплывал к небу и растворялся там в солнечных лучах священного купальского солнца. Хлопья пепла разлетались в стороны и, недолго повисев в воздухе, опадали на землю, на безмолвных русичей.

От страшного запаха, хлынувшего на церковь, мальчик задохнулся, у него потемнело в глазах, оборвалось дыхание, и он почти в беспамятстве сошел по секирам вниз. На полу храма он не удержался на дрожащих ногах и лег, раскинув в стороны руки. Снаружи сюда не доносился ни один звук.

Но костер там еще горел. Вокруг него недвижимо стояли смерды-русичи из Чижей и Липовой Гривы. Никто не плакал, но в глазах каждого отражался огонь, превративший волхва в дым-навью и унесшего не небо в их ирье…

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
Royallib.ru
Оставить отзыв о книге
Все книги автора